

Полковник Ф.И.Елисеев.

В ИНДОКИТАЕ-ПРОТИВ ЯПОНЦЕВ И В ПЛЕНУ У НИХ 1945

/ В Иностранном Легионе Французской армии /



Нью-Йорк, 1966 г.

ПРОТИВ ЯПОНЦЕВ В ИНДОКИТАЕ И В ПЛЕНУ У НИХ.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1. О т а в т о р а.
2. Катастрофическая переправа через "Ривьер Нуар" /Черная река/.
3. Мы уходим в Китай... Бои с японскими войсками. Гибель капитана Владимира К о м а р о в а.
4. В арьергарде своего отступающего батальона. Ранение. Вынос из боя своего раненого напрол-шефа. Обезсиление. Жертва воинского долга. Падение в реку. Оторвался от своих. Кошмарная ночь в джунглях, в одиночестве...
5. Первая встреча с японцами. Пленение. Лейтенант Сано и его солдаты. Новая встреча с японскими ротами. Каковы они?...
6. Мой страж - японский сержант. Насилие. Душевные переживания. Командир японского батальона.
7. Сборная рота японцев идет в тыл, в город Ханой. Пленные нашли легионеры. Неожиданная остановка. Гонец из Ханоя. "Первый" допрос-разговор. Внимание со стороны японских офицеров. Рота возвращается на фронт.
8. На ужине, в гостях у японских офицеров, в селении Дьен-Бьен-Фу. Каковы они у себя дома. Неожиданный "мрак" после ужина....
9. Больных японских солдат и пленных отправляют пешком в Ханой. Как мы передвигались... Разные картинки в тылу у японцев.
10. Новая встреча в главном центре японских сил, в городе Хэа-Энги. Презрение и ненависть японских солдат к пленным белой расы.
11. Мы в Ханое, в лагере военно-пленных Французской армии. Жизнь и порядок в лагере. Как обучаются японские солдаты.
12. На принудительных работах в джунглях. Какова работа, порядок и питание. Ранение и тропическая малярия.
13. Что-то неожиданное... Нас везут куда-то на коммюнах под стражайшей тайной и под усиленным конвоем и... привезли в Ханой.
14. А р м и с т и с !... Это есть самое драгоценнейшее слово для военно-пленных. Что было после этого. Приход в Ханой 43-ей Китайской армии маршала Чай-Кан-Шена. Какова она. Четыре Государственных военных власти в Ханое: - Американской, Китайской, Французской и Аннамитской.
15. Прибытие из Франции моторизованной дивизии генерала ЛЕКЛЕРК. Восторг французских жителей в Ханое. Прибытие персонально в Ханой других Французских генералов - Жуан, Салан и де Фруассард Бруассиа. Они в нашем лагере. Награждения отличившихся в боях. Окончательное освобождение. Что мы узнали из Аннамитской газеты на французском языке, под заглавием "Ля Веритэ", /"Правда"/.

А П О Ф Е О З.

— • —

Книга в 120 страниц листов большого формата. В ней - две географические карты района действий и кроки последнего боя. Фото автора в форме легионера Французской армии.

Выписывать по адресу: Th. Elyseev, 66 Ft. Washington Ave, Apt. 25
New York, N.Y. 10032.

Цена книги с пересылкой - 3 \$ 00

Все права сохранены за автором.

— * —

All rights reserved - no part of this book
may be reproduced in any form without per-
mission in writing from the author.

*

* *

ИЗДАТЕЛЬ

ПОЛКОВНИК Ф.И. ЕЛИСЕЕВ.

* * *

Published by COL. THEODORE ELYSEEV
66 Ft. Washington Ave, Apt. 25
New York, N.Y. 10032

* * *

L E G I O N E T R A N G E R E

H O N N E U R

V A L E U R

et

et

F I D É L I T É

D I S C I P L I N E

* * *

EXTRAIT DE L'ORDRE

No.889/DN. du 9 Avril 1945

Le Général SABATTIER, Cdt Supérieur des T.F.E.C. - CITE
a l'ordre du Corps d'Armée, avec attribution de la croix de
guerre, avec étoile de vermeil : ELYSEEV, Théodore, dit ELYS-
SEYEFF du 5ème R.E.I. - Lieutenant. -

" Officier de Légion, d'un sang-froid remarquable faisant
l'admiration de ses hommes a tous les combats journaliers me-
nés depuis le 20 Mars 1945 par son calme et son mépris absolu
du danger.

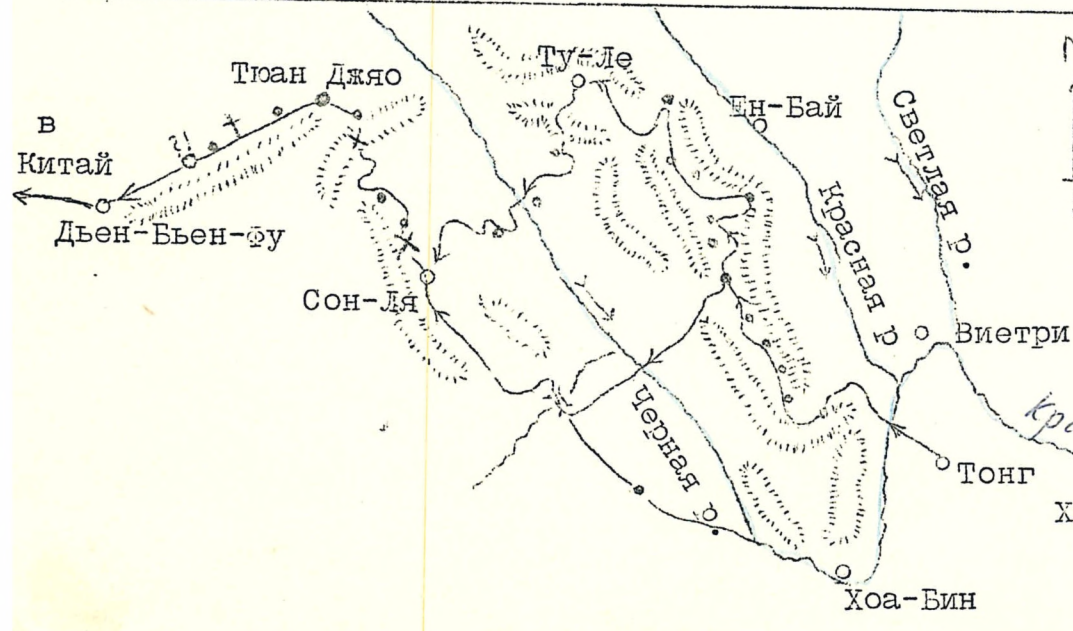
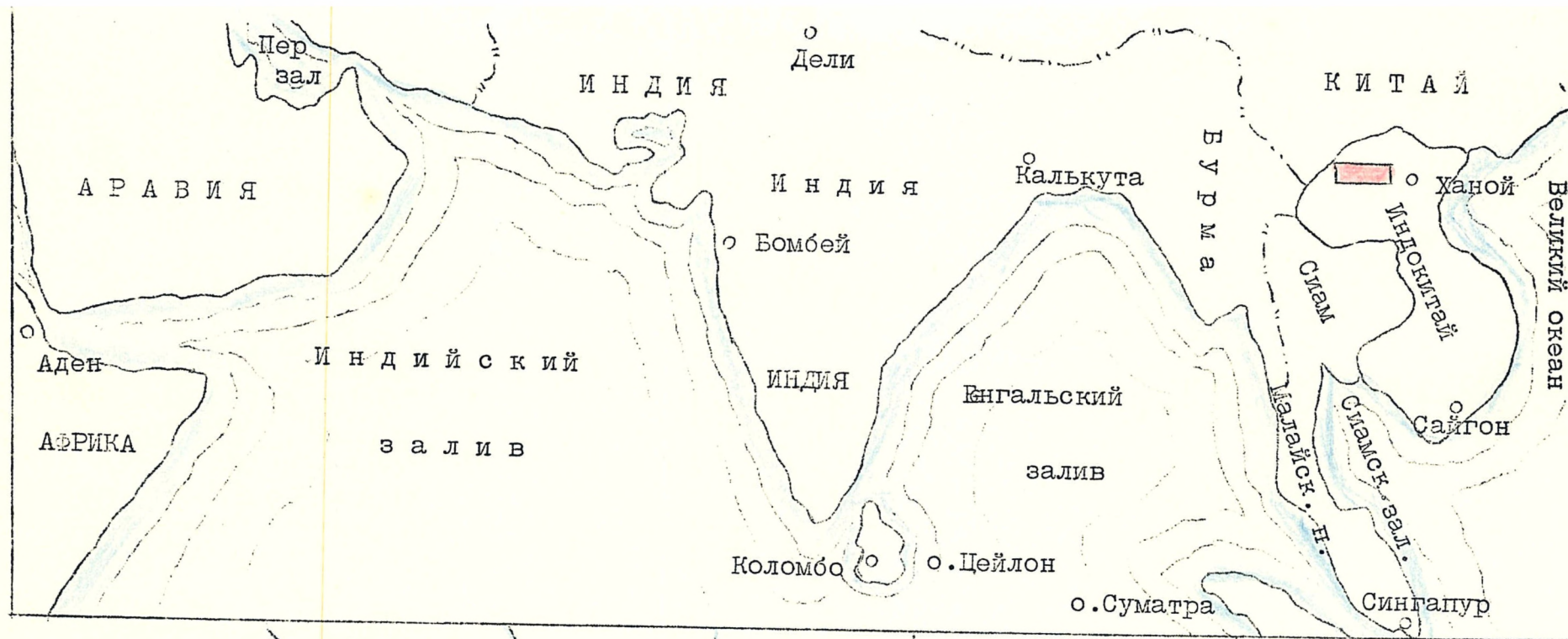
Fortement contusionné le 2 Avril 1945, alors qu'il com -
mandait la section d'arrière-garde, protégeant le repli du ba-
taillon, sous un feu violent et rapproché.- Porté disparu." -

Pour copie conforme:

Bel-Abbès, le 7 Mai 1947

Le Colonel GAULTIER

Commandant le Dépôt Commun
des Régiments Etrangers.



Вверху: положение Индо-Китая

Внизу: маршрут отступления Легиона в Китай. "Точки" по маршруту означают аннамские села, в которых были ночлеги и проходные пункты.

Условные знаки:



Район, где разыгралась трагедия



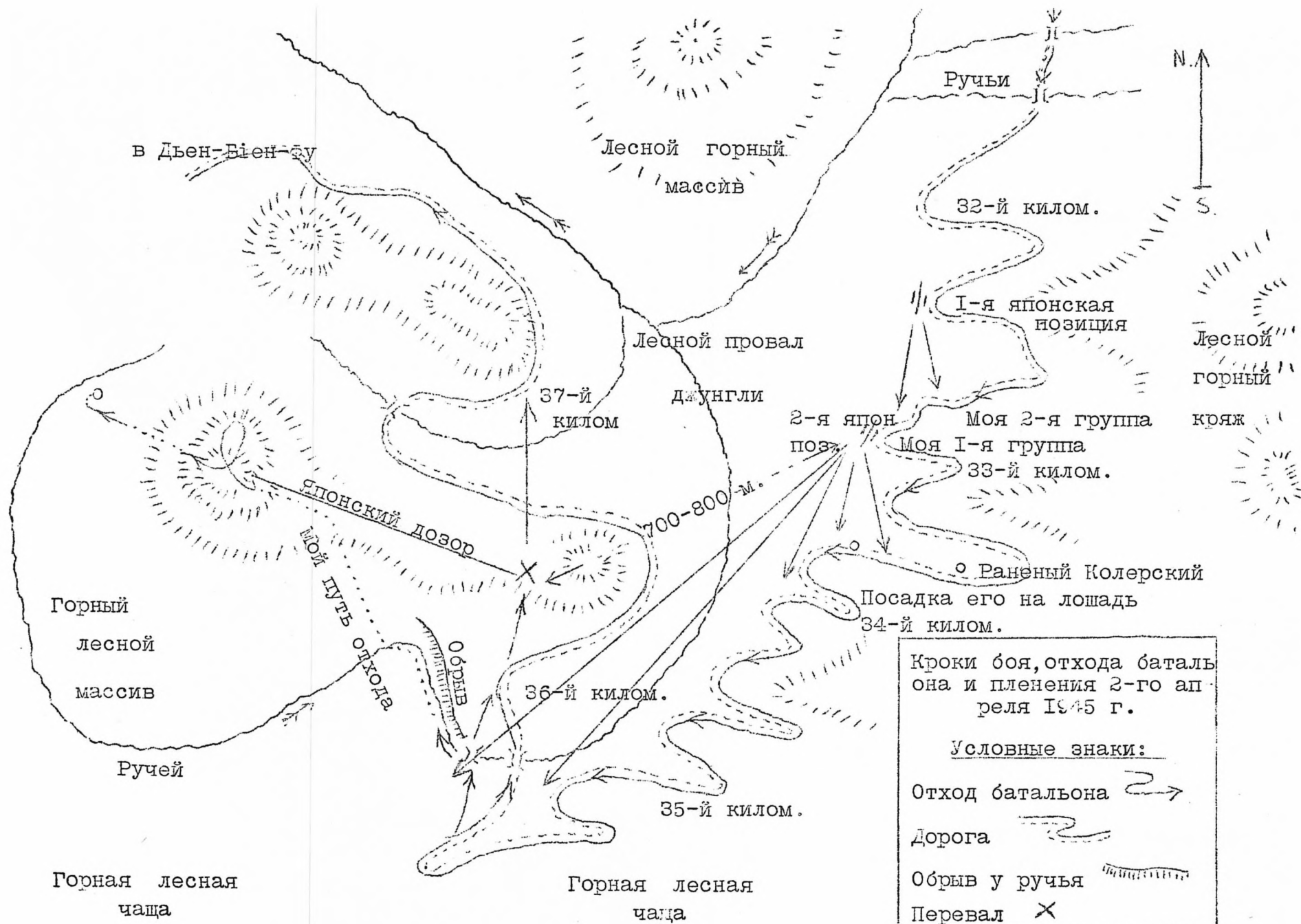
Перевалы



Гибель капитана Комарова





Мое пленение

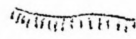


Кроки боя, отхода батальона и пленения 2-го апреля 1945 г.

Условные знаки:

Отход батальона 

Дорога 

Обрыв у ручья 

Перевал X

ПРОТИВ ЯПОНЦЕВ В ИНДО-КИТАЕ И В ПЛЕНУ У НИХ.

/ военно-исторический очерк, как исповедь одного офицера./

ОТ АВТОРА.

В 1941 году японский экспедиционный корпус, действовавший в Китайской провинции Юнан-Фу под давлением китайских войск Фельдмаршала Чай-Кан-Шека - отступал. Позади него находился нейтральный Индо-Китай, колония Франции, где он мог найти свое убежище. В районе укрепления Лонг-Сон, в самом северном Индо-Китае, ему перегородили путь отступления немногочисленные Французские колониальные войска и один из батальонов 5-го Иностранного полка легионеров. Условия борьбы были неравные и французское командование вынуждено было заключить с японским "соглашение", по которому японские войска могли отовсюду свободно входить на территорию Индо-Китая в качестве "союзников", для защиты этой колонии от американских, английских и китайских вторжений, совместно с находившимися там французскими вооруженными силами. И японцы вошли....

С этого дня, общее положение во всем Индо-Китае, резко изменилось: хозяевами страны, фактически, стали японцы. И несмотря на их корректное поведение - нормальной жизни французского населения, пришел конец; случившимся фактом, оно было поставлено "на дыбы".

Ненависть всех местных французов ко всему японскому, росла с каждым днем с почти нескрываемым озлоблением и презрением к ним, т.к. этот противостественный союз был политически вредным и оскорбительным для французского национального чувства. И он стал возможен потому, что большая часть Франции, была оккупирована немецкими войсками, союзниками Японии, и Германия диктовала стране ее политику. Лишь только одну выгоду видели французы в этом унижительном союзе: он, на несколько лет, отстрочивал, и отстрочил, обострение борьбы местного населения за свою полную политическую независимость перед Францией, теперь подчиненной Германии.

Негласно было известно, что французское командование в Индо-Китае, установило секретную связь с миссиями - американской и "Свободная Франция" Генерала де Голя, находившиеся в Чункине, при резиденции фельдмаршала Чай-Кан-Шека, и ждали от них помощи для своего освобождения. Об этом, конечно, очень скоро узнали японцы. Началась скрытая борьба. И когда общал военнополитическая атмосфера чрезвычайно остро, и неблагоприятно, стала складываться для "Оси, Берлин-Рим-Токио" - Японское правительство решило одним ударом покончить с местным неопределенным положением. После переговоров в столице Индо-Китая, в г. Ханой, японского и французского командования, носивший со стороны первых почти ультимативный характер, не приведший к желаемым результатам для японцев - их войска, 9-го марта 1945 года, ночью внезапно атаковали, разбили и разоружили все французские гарнизоны в Индо-Китае. Операция произведена была с большой решимостью и полным успехом. И только гарнизон военного лагеря в селе Тонг, в северном Тонкине, в 40 километрах от столицы Ханой - успел уйти из своего расположения за шесть часов до предусмотренной атаки японцев. С боями, около 2-х месяцев, отступал он по джунглям в Китай, и ушел - чем спас честь своего воинского Знамени.

Во время этого тяжелого по природным условиям местности похода, трагичность которого усиливалась еще тем, что - за нами, по пятам, следовал враг сильный, смелый и решительный, жестокий и мстительный, для которого в диких, почти непроходимых, джунглях не существовало самых элементарных "законов войны", и штыки которого безжалостно заканчивали жизненный путь отсталых, раненых и пленных - я, офицер Французского Иностранного Легиона, отступая со своим полком, вел регулярно дневник; и теперь, по этим заметкам, описываю это отступление теми картинками и эпизодами, свидетелем и участником которых был. По ним очень легко составить представление об этом походе, во всей его, ни чем не прикрашенной, действительности. Мой большой военный опыт 1-й Мировой войны 1914-17 гг. и гражданской 1918-20, в которых я прошел все строевые и боевые командные должности, начиная от младшего офицера и до начальника конной дивизии своего родного Кубанского казачьего Войска включительно, и последующий жизненный долгий опыт в сложной и беспокойной обстановке эмиграции, и работе в разных странах - приучили меня "заглядывать" туда, мимо чего скользил глаз молодого офицера-француза, не выдавшего горя.... И видеть там то, чего он, по своей неискренности в жизни - никогда бы не заметил.

- . -

"Власть закона кончается там - где начинается непререкаемая власть совести.

Н а п о л е о н.

НЕОЖИДАННОЕ НАЧАЛО . . .

8-го марта 1945 года, около 11-ти часов вечера, ко мне на квартиру явился посыльный нашей пулеметной роты легионер Блюм /немец/ и доложил, что всем офицерам приказано немедленно же прибыть в распоряжение батальона, а по какой причине - ему неизвестно.

В "картье" батальона было тревожно. Все ворота огромного двора, огороженного высокой кирпичной стеной, были заняты сильными караулами при пулеметах. Батальонное противотанковое орудие "25-ти миллиметров" и тяжелые пулеметы - были направлены со двора в эти ворота, с приказанием, что - если японцы атакуют "картье", т.е., расположение батальона - открыть по ним огонь.

Осмотрев позиции своей пулеметной роты, я был удивлен всем творящимся вокруг. Защищать нужно, ведь, подступы к селу, но не самая казарма.

По слухам мы знали, что японское командование что-то замышлет против французских войск, а что именно - никто, кроме высших штабов, не знал.

Японцы в эту ночь нас не потревожили. Утро, 9-го марта, принесло нам некоторую успокоительные вести из Ханоя, однако, весь гарнизон Тонга продолжал оставаться в полной боевой готовности.

В тот же день, из Ханоя, прибыл в Тонг наш начальник дивизии, генерал Сабатье со своим штабом, который очень долго совещался со старшими офицерами, начиная с командиров батальонов. Кроме них и командиров рот - никто ничего не знал - что же именно происходит? и чем вызвана эта боевая тревога? Официально же - весь гарнизон Тонга, как и раньше - готовился - "к очередным трехдневным маневрам", ожидая противника с востока. Но на сей раз - он выходил с боевыми патронами и с полной мобилизацией всех чинов наличного состава частей. И все младшие чины искренне думали, что мы, действительно, идем на очередные маневры.

Ровно в полночь на 10-е марта, весь гарнизон, но в очень спешном порядке

выступил на запад. С рассветом, пройдя около 10-ти километров от Тонга, роты нашего 2-го батальона, заняли позиции фронтом на восток и ждали, как всегда, дальнейших распоряжений.

Было очень приветливое мягкое утро. Ярко светило солнце и окружающая нас природа была так тиха и прекрасна, что трудно было и представить, что уже началось "что-то" для нас очень страшное, и что - в нашем Тонге, ворвавшиеся туда японские войска, штыками уничтожили весь штаб гарнизона, переколов: начальника гарнизона, лейтенант-колониеля Марсэлэн /подполковника/, его пять офицеров, всех штабных сержантов /унтер-офицеров/, часовых и многих других чинов оставшихся там караулов.

Было часов 9 утра, как мы услышали далеко на восток глухие орудийные выстрелы. В полном недоумении, ничего не знаящие, мы продолжали стоять на своих открытых, только для маневра выбранных, позициях. Но вот пришло от нашего командира батальона, капитана де Кокборн, неожиданное распоряжение: - "Всем ротам спешно сняться со своих позиций и отходить к переправе через Ривьер Нуар /Черная река/, которая находилась в нашем тылу в 10-ти километрах.

Роты снялись и отходили по дорогам "как хотели"... И уж тут, на марше, нам сообщили - что японцы, ночью, неожиданно атаковали штаб нашего полка, находившегося в стороне и чуть в тылу от нас, в городке Виетри, на той стороне, при слиянии двух рек - Нуар и Клер /Черной и Светлой/, и разоружили его. Там жил командир полка с 10-ю офицерами и до 500 легионеров. Что случилось с командиром полка лейтенант-колониелем Беллок и полковым Знаменем - нам не было известно.

Командир бригады, генерального штаба генерал Алессандри, находившийся с гарнизоном Тонга, видимо боясь, что нас могут отрезать японцы от Черной реки - приказал спешно переправляться через нее.

Наш батальон перешел небольшой перевальчик и подошел к самой переправе. Здесь происходило нечто невообразимое. Дорога была запружена двуколками, камионами и толпами легионеров, французских солдат и тирраерами, т. е. - солдатами-аннамитами. Выпрягались спешно лошади из двуколок и чем то навьючивались. Двуколки сбрасывались в глубокий овраг, ткнувшийся тут. Горели две легковые машины автомобильной роты. Картина ясно говорила о чрезвычайной поспешности отступления. Мой ротный командир, капитан Гуйом, сидя на корточках - торопливо совал что-то из своих вещей в альпийский мешок и, ловко забросив его за спину, готовился спускаться куда-то книзу. Неудоменно и очень серьезно, я спросил его: /он моложе меня был на 15 лет/

"Мон Капитен!... что такое здесь происходит?" С улыбкой он посмотрел на меня и как то неопределенно ответил:

"Пароны не в состоянии поднять все двуколки... поэтому их все и бросают здесь... из них берут все то, что что хочет... Забирайте и Вы свои вещи и торопитесь к переправе".

Я продолжал не понимать происходящее, но повинаясь общему движению - взял свои вещи из офицерской двуколки и пошел... но не к переправе, а в направлении к последнему холму-позиции. На самом бугре стояло какое-то казенное здание. Оно было совершенно разграблено. Теперь у меня не осталось никаких сомнений, что мы не только что отступаем отсюда, но и разрушаем все, что бы ничего не осталось японцам. Значит положение серьезное - подумал я.

Здесь, на вершине холма, встречаю командира наших двух батальонов Тонгского гарнизона, команданта Тохадзе, родом грузина. Я с ним дружен, а потому с откровенным удивлением спрашиваю его по-русски:

"Мон командант!... что это происходит? Почему мы не занимаем прочно вот эту позицию, что бы обезопасить возможность войскам спокойно переправиться через реку?"

Токхадзе окончил дворянскую русско-грузинскую гимназию в Тифлисе; потом был юнкером, уже, Грузинского военного училища там же; юнкером эвакуировался во Францию вместе со своим правительством в 1921 году, когда красные войска заняли Грузию; там окончил военное училище и считался настоящим французским и гражданином и офицером. Умный и хорошо воспитанный, он как то меланхолично ответил:

"Некем занимать... все спешат к переправе. Да и приказано - незадерживаясь - уходить за реку".

Я иду к пристани. Уличка маленького аннамитского села так запружена людьми, что я с трудом протискиваюсь вперед. У самой пристани, на спуске к парому, стоит большой грузовой камин и личный автомобиль генерала Алесандри, оба завязшие в грязи. Выше, над спуском, стоит наш батальонный камин с продуктами "для маневров", а вокруг него, на этом малом пятачке земли - сплошная масса людей плечом-к-плечу, и лошадей, ждущих своей очереди на погрузку. Три-четыре паромы на лодках с веслами, управление солдатами-аннамитами, и перегруженные до-отказа людьми и лошадьми - лениво, грузно, не торопясь - шли поперек реки, имевшей ширину около 250 метров, /150 сажень/. Никто ни кем не управлял и люди грузились на паромы когда и как хотели, перемешиваясь ротами. Все офицеры нашего батальона были уже на той стороне, а здесь, на высоком берегу - стоял только один кипозантный командант/майор/ Токхадзе в своем нарядном красном легионерском кепи, и мрачно смотрел на эту беспорядочную переправу.

Густым строем подошел с юга наш 1-й батальон капитана Гоше и, увидев полную застопоренность движения здесь, двинулся дальше на север и там приступил к переправе.

Начальник продуктового каминна нашего батальона, увидевши, что у него нет никакой возможности переправить камин через реку - вдруг зычным голосом кричит в толпу всех солдат по-французски:

"Камаарады!... Желющие - подходи с кружками и получай "шум-шум"! т.е. местную аннамитскую водку.

Подобная команда оказывает свое магическое действие на толпу, и она, с кружками в руках, ретиво устремилась к камину.

Водка быстро роздана и выпита. Громадные ведерные бутылки и двух-ведерные деревянные боченки, как уже ненужный хлам, валяются возле машин на влажной земле от разлитой водки.

"Разбирай все, что есть в камине!" властно кричит тот же голос легионера-немца - и толпа снова алчно устремилась на зов. Солдаты-аннамиты, с винтовками за плечами, словно прирученные обезьяны, ловко карабкаются во внутрь каминна, толкают, шиплят и что-то злобно пищат друг на друга, сбрасывая вниз более слабых и менее ловких себя, что бы поскорее добраться до самой драгоценной для них добычи - риса. Наполнив им свои военные сумки - они набивают сухим невареном рисом рты и жадно жуют. Правда, все мы были тогда голодны, не получив после ночного перехода еще никакой еды.

С каминна скоро полетели чемоданы с личными вещами, сундуки, ящики с консервами и бисквитами, канцелярские принадлежности, мешки с фасолью и горохом и громадные куски-туши не вареной свинины. Все жадно хватили кто что хотел и сколько мог, а я стоял в стороне, и с острым интересом наблюдал столь неведомую мне до сих пор картину, организованного самим начальством, беспорядочного, и деморализующего солдат, расхищения казенного имущества. И все удовлетворенно успокоились лишь тогда, когда их сумки, карманы, руки - были переполнены до отказа разными съедобными и несъедобными предметами. А в это время, перегруженные паромы, неторопливо пересекали реку. Рядом с ними плыли лошади в поводу, а некоторые из них, потеряв своих хозяев, и повинаясь стадному инстинкту, плыли самостоятельно, или назад или вперед, где берег казался им более близким.

Никто не знал и не интересовался - что происходит "на позиции"? которую должна была занимать только одна артиллерия. Да и есть-ли? Да и была ли где "эта позиция"? Об этом здесь, у парома, никто ничего не знал, да и не хотел знать!

Тонкая нить уже переправившихся людей, тяжело двигалась шагом на том берегу, направляясь в ближайшее аннамитское село.

Грузился батальонный санитарный обоз во главе с медесен-капитаном Каро. Из офицеров нашего батальона уже никого больше не оставалось на этом берегу, и я, насмотревшись здесь "на разные картинки" - с исключительно глубокой грустью, тихо спустился вниз, взобрался на паром, оставив позади себя все те же толпы людей, гурты лошадей, которые, словно, и не убавлялись в своей многочисленности.

Выгрузились на другом берегу. Иду по общему течению людей. На песке горит какой-то сундук. Подхожу и вижу, как ярким пламенем горят книги и бумаги. Крышка сундука лежит рядом, на песке. Переворачиваю ее ногой и читаю:

"Канцелярия 2-го батальона 5-го полка Иностранного Легиона".

Ну, вот - и все кончено. Погибла тут, даже, и канцелярия, символ управления войсковой единицы.

В стороне, метрах в 50-ти от дороги, на травке сидят все офицеры нашего батальона и что-то едят. И едят так спокойно, точно сегодня ничего и не случилось экстраординарного. Они зовут меня к себе. Не останавливаясь, прохожу мимо них, охваченный невыразимой грустью - и от какого-то тяжелого предчувствия, и под впечатлением картины полного развала, которую я наблюдал при переправе.

У околицы села стоит один из командиров роты 1-го батальона, капитан Слюсаренко, старый и опытный офицер. Молодым офицером служил в армии Гетмана Скоропадского - при падении его режима, он был вывезен из Киева немцами командованием с другими офицерами в Германию в закрытых вагонах. Сразу же поступил в Легион и теперь он капитан и командир роты, считался образцовым офицером.

"Как дела, Елисей?" кричит мне он издали.

"Переправа через Березину, через Березину!" досадливо отвечаю ему, и он в ответ - улыбается мне, чем показал полное свое сочувствие.

Около 18-ти часов, головные части отряда сосредоточились в городке Хонг-Хоа, что в 6-ти километрах к западу от переправы, и передохнув - двинулись к горам, к селению Донг-Ван, куда прибыли с наступлением темноты. Долго потом подтягивались отсталые, и каждый, в ночном мраке, окликал свою роту, присоединялся к ней и располагался на ночлег на траве с мелким кустарником - кто, где, и как хотел и мог... Все были уставшие, голодные, печальные и ничего не знавшие о том - что же произошло и что происходит?

В горах было сыро и холодно. Все это представлялось мне каким-то кошмаром. И только многочисленные костры среди спящих голодных и мерзнувших людей, да непрекращающиеся оклики отсталых, розыскивающие свои роты, говорили мне, что - "войны" еще нет, боя не было, но что мы уже разбиты....

Настало утро 11 марта. В штабе генерала Алессандри были собраны все командиры батальонов со своими адъютантами. Совещание происходило в доме богатого аннамита и продолжалось долго. Оно сопровождалось завтраком и кофе.

В 9 часов утра, все батальоны двинулись куда-то на юго-запад, вниз по лесной дороге. Три отличных легковых машины, с испорченными моторами, воткнулись в лес. Часа в 11-ти остановились на большой привал в селе Тао-Лийсен. Приказано подсчитать силы и переформироваться. Здесь к нам присоединился 3-й батальон нашего полка капитана Ленуар, бывший вчера на северной стороне Ривьер Руж /Красной реки/.

В нем сейчас было 10 офицеров и только 175 легионеров, тогда как на кануне рокового 9-го марта, он насчитывал в своих рядах 600 легионеров и 400 стрелков-аннамитов. Его 9-я рота с капитаном Ламинадас /грек по рождению/ - ушла самостоятельно к границе Китая. И нам не успела присоединиться 7-я рота нашего батальона Капитана Куран, стоявшая в летнем лагере Ба-Ви, на нашей же стороне Черной реки, при которой находились девять американских летчиков, сбитых японцами в их полетах к нам из Китая. Где эта рота, и что с нею? - мы не знали.

В этом селе, по приказу генерала Алессандри, была произведена демобилизация всех стрелков-аннамитов, как ненадежный политический элемент и что бы избавиться от личного баласта полку Легионеров.

Собравшимся офицерам, наш командир батальона капитан де Кокборн, приказал обьявить в ротах, что в дальнейший поход могут идти легионеры только по добровольному желанию. Остальные же могут оставаться здесь, или вернуться назад в "картье", где они будут военно-пленными японской армии.

После краткого недоуменного молчания всех нас - командир 6-й роты, капитан Владимир Комаров /русский/, друг Кокборна и старше его как легионер, очень унылый воспитанный и начитанный офицер, со скромной, но лукавой улыбкой, заявил ему:

"Если это обьявить в ротах, то более половины людей останутся здесь... и от батальона с нами пойдет, может быть, столько легионеров, что хватит их только на одну роту"...

Снова воцарилось непродолжительное молчание, точно все задумались над таким щекотливым вопросом. Подумав, Кокборн сочувственно улыбался Комарову - тихо ответил:

"Да, это правда. Обьявить этого легионерам не нужно".

Я слушал и молчал. Все события и распоряжения, начиная с переправы через Черную реку вчера, очевидно, заранее не предусмотренной и не подготовленной, проведенной в полной дезорганизованности, при отсутствии всякой распорядительности, при отсутствии какого бы то ни было давления со стороны японских войск, когда на том берегу была брошена вся материальная часть всего гарнизона, а именно: - орудия трех батарей и 160 мулов к ним, все обозные лошади гарнизона, почти вся санитарная часть с санитарными амбулансами, все грузовые камионы, четырехколесные фургоны, все двуколки. В общем - брошено "все колесное", моторизованное. И брошено в спешном, почти паническом порядке. Теперь поспешная демобилизация стрелков-аннамитов и предложение идти в поход только "желающим легионерам" - все это вместе взятое - навело на меня безнадежное уныние, глубокое недоумение и плохо скрываемое озлобление в отношении тех, кто допустил нечто подобное...

И эти чувства не покидали меня все дни и часы нашего последующего "похода-отступления" и подорвали во мне всякую веру в успех нашего оружия. И дальнейшие события лишь укрепили меня в этом, а жуткая действительность - подтвердила.

В "5-м пехотном полку Иностранного Легиона Французской армии" - такое его официальное название - среди офицеров полка, по летам, я был старше всех, но был только лейтенант и командир пулеметного взвода. По производству же в офицеры - был годом старше самого нашего бригадного командира Генерала Алессандри, что он и знал. Он выпуска 1914-го года. Мой же командир батальона капитан де Кокборн, по производству в офицеры, т.е. по выпуску из военного училища, был моложе меня на 15 лет. Среднего роста, спортивно поджарый, неутомимый в походе и все время куда-то торопящийся. Светлый блондин хорошей дворянской фамилии из Нормандии. Санатик военный и большой французский патриот. Пехотный офицер, но большой конник, отлично сидел в седле как кавалерист и увлекался скакать на препятствия довольно внушительной высоты. Со мною дружил, как с офицером-вонзником и мы часто скакали с ним на барьеры. Он словно испытывал меня "в седле" и старался перенять от казачьего конника то, что было ему "ново". Мы дружили.

"Элизэ!" - так произносили мою фамилию французы. "Вы старый человек и можете не выдержать нашего тяжелого похода в Китай, почему я разрешаю Вам, так же, остаться здесь...но Вы будете пленником японской армии", вдруг говорит он мне.

От оскорбления - кровь ударила мне в лицо. Став в положение "смирно", но не взяв руки под-козырек, и строго смотря ему в лицо - отвечаю:

"Я пойду туда, куда идет мой батальон!" Кокборн смолчал. Молчали и все офицеры. Мне тогда было 52 года. Сказал - и стал в положение "вольно".

В 15 часов этого же дня, весь отряд выступил дальше на запад - в Китай... В 2-х километрах от села, у дороги, одиноко тускло стояло брошенное противотанковое орудие, 25 миллиметровое, нашего 1-го батальона. Возле него горела куча боевых патронов. Они непрерывно взрывались. Это зрелище, почему то, очень развеселило легионеров. Они шутили и хохотали. Меня же охватила озлобленная тоска.

"Чему они смеются?! Ведь разыгрывается жуткая трагедия нашего безпомощного отступления, грозящего потерей воинской чести и знамени для Французского оружия!" - внутренне возмущался я.

Тогда я еще не знал подробностей, случившегося на перевальчике с материальной частью нашего батальона, где, по приказанию командира моей технической роты капитана Гуйома - были брошены в Черную реку совершенно исправные к бою: - наше батальонное противотанковое 25-ти мм. орудие, все 12 тяжелых пулемета системы "Максима" и 2 бомбомета. Подобное оружие полагалось на каждый батальон и составляло очень сильную боевую силу каждого батальона. И брошено потому, - "что бы не досталось противнику", как сказал потом капитан Гуйом. Но противника мы еще и не видели!

Отряд шел по единственной колесной дороге, горами и лесом. Он переходил горные ручьи с плохенькими деревянными примитивными мостами и мосточками. Мотоциклетки с пулеметами то и дело обгоняли нас, потом застревали на переправах и снова обгоняли нас и пели свою "последнюю лебединую песнь", т.к. на этом переходе - все они были брошены за непригодностью для них этой дороги.

Около 19-ти часов, батальон расположился биваком на поляне выгоревшего леса. Немедленно же запылали костры для варки пищи. Все были рады отдыху. И бивак так громко "заговорил" сотнями голосов и ржанием жеребцов, словно мы были не на войне, а на маневрах.

Часу в 21-м, к отряду присоединилась, наконец, наша 7-я рота, и ее командир капитан Куран, доложил батальонному командиру, что - в своем двух-дневном походе из Ба-Ви /летний лагерь Легиона/, в поисках нас - он потерял полностью два взвода легионеров, все свои ручные пулеметы, все 42 лошадей своей роты, потерял свою собственную верховую лошадь, положенную ему по штату и потерял всех восемь американских летчиков-офицеров, вверенных ему для охраны от японцев. И от роты у него осталось 35 легионеров. Где же остальные - он не знает.

В этот вечер, чуть позднее, к нам присоединились и артиллеристы нашего гарнизона со своими командирами батареей, капитанами Аржур и Буржуа... Они оставили на том берегу Черной реки все свои пушки, предварительно взорвав их, всю материальную часть, всех мулов и лошадей и всю оружейную прислугу из солдат-аннамитов. Ушли только офицеры и сержанты-французы - всего около 40 человек. Это было все, что осталось от трех батарей нашего гарнизона.

Была очень темная ночь. Слушая все это - мне показалось, что кругом стало еще темнее...

В эту ночь, будто после тяжелой болезни - все спали крепчайшим сном. Она прошла спокойно. О противнике, где он? - мы ничего не знали. А утром 12 марта, отряд выступил дальше на запад и шел все время лесом и горами.

Во время этого перехода, командир батальона капитан де Кокборн, шедший впереди, остановился, что бы пропустить мимо себя роты. Я был с ним. Увидев, что сержант Дользото /итальянец/, начальник противотанкового батальонного орудия и двух бомбометов, сам ведет в поводу лошадь с навьюченной на нее тушей свиньи, убитой на обед - он пришел вдруг в ярость. Злым голосом он приказал бросить лошадь и стать во главе своих бомбометов. Смелый на-сло-во, порою даже дерзкий, но отлично знающий и любящий свое дело - Дользото громко ответил, что он получил от своего ротного командира капитана Гуйо-ма быть "начальником снабжения и питания роты". Это лишь усилило раздра-жение Кокборна и он еще строже повторяет свое приказание. Сержант делает вид, что подчиняется его распоряжению, и остановившись, своими черными плу-товскими глазами, как будто ищет: кому бы передать лошадь? Батальонный рез-ко поворачивается и уходит вперед, а Дользото недоуменно говорит мне:

"Мон лейтенант!... бомбометов ведь нет!... По приказу нашего капитана Гуйома - я сам бросил оба бомбомета в Черную реку еще позавчера!.. бросили туда и все пулеметы... э, алор!" /вот что!/ - добавляет он печально и сконфуженно, этот крупный, сильный, всегда бодрый и мужественный парень-служака.

"Ка-а-к?!" - в ужасе воскликнул я. "В реку брошены все пулеметы?!.. Почему?!" - забросал я его короткими тревожными вопросами.

"Гм... Я не знаю.. дан был приказ и мы бросили"... неодобрительно и печально говорит он мне, бывшему долгое время офицером в его роте.

"Никто нас не преследовал там.... и первый свой патрон - я выпустил вчера вот в эту свинью", продолжил он. И с улыбкой кивнул на перекинутую через седло тушу.... Но я не стал больше его слушать. И так.... все вооружение нашего батальона теперь состоит из нескольких ручных пулеметов и карабинов, и во всем отряде нет и одного орудия....

На следующий день, 13 марта, утром, на виду всего отряда, у села Фу-Кук, шло долгое совещание старших начальников над развернутой картой. Наконец определили маршрут и двинулись. Главные силы с генералом Алессандри на юго-запад, а наш батальон на северо-запад.

Только теперь, мы, младшие офицеры узнали - какие силы успели уйти от японцев из своих гарнизонов северного Тонкина. Это были: - Все три батальона нашего полка, силою около 1.500 легионеров, один батальон 1-го Тонкинского полка стрелков-аннамитов при французском командном составе со своим командиром полка полковником Франсуа, 60 офицеров и сержантов авиации и 40 человек артиллеристов трех батарей, офицеры и сержанты только.

Наш батальон пошел скоро в лесной кряж и пошел вдоль русла горной реки, без дорог и троп. В этот день батальону пришлось совершить исключительно трудный переход. Долго шли по высохшему руслу реки, усеянной валунами. Выползали на берег, в поисках пешеходных тропинок, и снова спускались на русло с мелкой водой. Потом поднимались на лесистые кряжи и вновь спускались вниз. Шли шли шли - неведомо куда, держа путь только на северо-запад. С батальоном шли и 40 артиллеристов. Шли в колонне "по-одному" и очень растянулись. К вечеру спустились в узкую долину-котловину и, с заходом солнца, подтянув свои "хвосты" - заночевали в селе На-Нгуак. Немедленно же запылали костры и послышались частые ружейные выстрелы по селу: то legionеры "били" свиней себе на ужин, не спрашивая хозяев-аннамитов....

В 7 часов утра 14 марта выступили дальше. Перешли новый горный массив и переправившись через очень бурную, и довольно широкую, горную реку Нгай-Лоз, дно которой было сплошь усеяно большими и скользкими валунами - через 2-3 километра, у села Донг-Во - подошли к шоссированной дороге Йен-Бай, - Нджа-Ло. Город Йен-Бай оставался в 40 кил. у нас в тылу и на фланге; и мы узнали, что он уже занят японцами. По шоссе, на камионах - японская пехота

в любую минуту могла появиться здесь и отрезать батальон от пути отхода в Китай. Это было бы для него катастрофой.

Приказано было внимательно наблюдать за дорогой, для чего к шоссе была выдвинута рота капитана Гуйома. Отряд же расположился "на большой привал" до 18-ти часов вечера.

Я и капрал Эхлерт /немец/, в качестве конных разведчиков, находились у самой дороги, являясь "глазами и ушами" отряда.

Шел мелкий нудный дождь. Было сыро и неуютно кругом, и время тянулось бесконечно медленно.

Японцы не подошли и отряд, скользя на шоссе - быстро двинулся на запад. Колонна, в своем скором шаге, сразу же растянулась. Скоро наступила ночь и стало так темно, что в 10-и метрах, ничего не было видно. Следовать верхом было совершенно невозможно. Мы спешили. К нам подошли офицеры головной роты и мы, при помощи спичек, и ошупью, искали в бесконечных изгибах дороги, ее продолжения. В таких условиях отряд делал не более трех километров в час. Люди очень устали. Ясно было, что в эту ночь, нам не дойти до намеченного села, что бы оторваться от японцев, цели сегодняшнего перехода, до Нджиа-Ло, почему, в полночь остановились на ночлег в большом селе Кок-Лио. До Нджиа-Ло оставалось еще 18 километров.

15 марта, в 7 ч. утра, двинулись дальше. Вскоре начался сильнейший тропический дождь, и когда отряд добрался до Нджиа-Ло - все были проможенные насознать.

В этом селе был большой привал. Здесь находился французский административный центр этого района. В нем много лавок, что всех обрадовало. Легионеры были истрепаны в одежде, и в особенности в обуви. Редко у кого был табак, т.к. не только что рядовые, но и младшие офицеры не были предупреждены об открытии военных действий. Выступили, ведь, "в трех-дневные маневры", почему легионеры были одеты, как всегда, в самые худшие полу-военные синие нитяные блузоны и обуты в худшие свои ботинки. Все были без шинелей и без запасного белья. Табаку взяли только на три дня, как и денег только на "наскруты" /на завтраки/. Поэтому, лучший здесь магазин богатого китайца, переполненный различными французскими напитками, печеньем, сахаром, обувью - оказался как нельзя кстати всем. У кого были деньги - те кинулись за покупками, а безденежные легионеры - начали шуметь. И был острый момент, когда дело чуть было не дошло до грабежа.... И только своевременное выступление караула - спасло хозяина от непредвиденных убытков....

Самая возможность такого настроения у легионеров, да еще на своей территории - меня несказано удивило и возмутила. Как оказалось потом - я еще недостаточно знал психологию их, или - нравов в Легионе....

Хорошо поели, отдохнули, а многие успели и "знатно" выпить. С запасами табака и другой мелочи - в 15 часов двинулись дальше. А куда? - кроме командира батальона, как начальника "отдельного отряда" и двух старших офицеров над ним, команданта Токхадзе /и еще кого-то/, никто не знал.

Пройдя всего лишь 8 километров - под проливным дождем, отряд остановился на ночлег в маленьком аннамитском селе, состоящем из несколько бамбуковых сараев на высоких столбах. На каждую роту пришлось только по одному сараю. Все промокли до костей. В сараях было очень тесно. Почти половина легионеров расположились под открытым небом. Всю ночь шел дождь. Вода для варки пищи и питья была далеко. Вообще, во время всего похода, элементарное военное требование - располагать войска поблизости к воде - никогда не соблюдался. До глубокой ночи легионеры сушили свою убогую одежду на кострах из мокрого бамбука и только после полуночи уснули мертвым сном измученных душ и телом людей.

Как и во все дни, 16 марта, в 7 часов утра, отряд выступил на северо-запад, в село Фу-Ла. Здесь кончилась колесная дорога, а дальше, в Китай, вели

одни горные тропы. Мы в нервном возбуждении торопились добраться до этого пункта, т.к. за ним отпадала всякая опасность, что японцы догонят нас на конниках.

После большого привала с 11-13 часов - отряд начал подниматься на высокий длинный перевал. День был хороший, сухой. Дорога широка и суха. Шли бодро и быстро. Все стремились душой вперед, в "спасительный Китай". На мягкой глинисто-песчаной почве, ясно были видны следы нескольких легковых автомобилей. За перевалом, под снова начавшимся дождем, отряд спустился в маленькое село, расположенное в лесной котловине. В нем было всего шесть домов-дворов, утопающих в глубокой жидкой грязи. Но село оказалось достаточно богатым в смысле продуктов, и фуража для наших немногих лошадей. Продолжавшийся дождь мешал развести костры и люди получили свой горячий ужин только с наступлением темноты.

За ночь нашей стоянки, село было сильно "обедено" отрядом. Большинство жителей, принадлежавших к какому-то горному монголо-китайскому племени, при нашем приближении, бросило свое имущество и поспешно скрылось в окружающих горных лесах. Оставшаяся хозяйка дома, где остановились все офицеры и штаб отряда - проплакала всю ночь, видя гибель своего животного и пернатого царства, до чиста съеденного нами. Сидя у камина ее кухни со штабными легионерами - напрасно я пытался ее успокоить через переводчика, юнкера-аннамита Минх, уверяя, что завтра утром, ей будет за все уплачено.

Эта полудикарка недоверчиво поглядывала на меня и продолжала беззвучно лить свои слезы по, когда-то, видимо, очень красивому, точно высеченному из камня, монгольскому бледному лицу.

Легионеры штаба, из-за грязной погоды, что бы не охотиться во дворе - зарезали квочку. Цыплята разбежались. И один из них, спрятавшись где-то жалобным писком, и всю ночь, звал "свою мать", надрывая душу жалостливых людей.

Пришло утро 17-го марта. Как всегда - сборы были очень короткими. Я стою у порога и жду выхода батальонного командира. Я уже знаю, что расчета не было. Капитан де Кокборн торопливо выходит из хижины. Он всегда чем-то озабочен, почему его сухое лицо делается злым. Здесь между нами произошел короткий, но сильный диалог:

"Мон капитэн!". обратился я к нему. "Хозяевам не уплачено за все, что мы взяли у них вчера".

Он косо, и многозначительно, посмотрел на меня сквозь стекла пенсне, и ничего не ответил.

"Ведь это же грабеж!" продолжил я.

Он резко повернулся ко мне и вызывающе бросил:

"Самые большие грабители - это казаки."

"Сто лет тому назад - может быть... и во Франции... во времена Наполеона!" отпарировал я ему.

"О, мерд аллер!" /свободный перевод - "О, черт возьми!"/, буркнул он свою любимую фразу-ругань и скорым шагом пошел к своим ротам. Наша "кавалерийская" дружба получила трещину...

Как правило - отряд ежедневно выступал в 7 часов утра, около полудня делал двух-часовой большой привал с раздачей горячей пищи, выступал дальше, и на ночлег останавливался около 20-ти часов, т.е. около 8-ми вечера.

В отряде было вдоволь мяса и риса, но не было совершенно хлеба. Все же, легионеры питались очень сытно, и были довольны походом, где им жилось вольготнее, чем в обстановке строгой и придирчивой казарменной дисциплины. Офицеры, с сознанием исполняющего долга перед своим Отечеством Францией - вели своих людей вперед, преисполненные злобой и ненавистью к японцам.

В полдень вошли в желанное село Фу-Ла, которое мы считали "первым этапом своего спасения". Здесь отряд отдыхал сутки. Роты запаслись мясом и рисом на три дня, т.к. дальше шла только одна горная тропа по пустынно-

горной местности. Но нас ждало нечто новое....

В этом селе мы нашли три отличных легковых машины, заботливо укрытых под навесом. Высокий и бравый капрал-аннамит, доложил мне, что все они принадлежат штабу нашей дивизии Генерала Сабатье, отсюда дальше колесной дороги нет, и генерал, со всем своим штабом в 25 человек, пересев на лошадей, четыре дня тому назад - двинулся в Китай. И ему приказано охранять машины до дня возвращения генерала обратно. Это меня очень ободрило: значит, наш отход временный и предусмотренный. Но я в этом глубоко ошибался.

Здесь наше радио приняло приказание генерала Алессандри - "переменить направление движения и спешно идти в село Сон-Ля, на присоединение к главным силам". Село Сон Ля был опорный пункт, где и раньше были небольшие силы нашего полка. И 18 марта, круто повернув на юг - отряд сразу же стал подниматься на высокий перевал. Немедленно же пошел проливной тропический дождь. Вода потоком шла нам навстречу, затрудняя движение. Дождю, казалось, не было конца. На самом перевале мы попали в облако, которое поглотило в своих объятиях нас всех. Отряд шел ощупью на высоте свыше 2.000 метров над уровнем моря, пока на южном склоне не проглянуло солнце и перед нами открылась величественная панорама глубокой и широкой, пересеченной возвышенностями, долины. А за нею, насколько хватал глаз - синева далеких гор. Очень извилистая, как гигантская змея, дорога - тянулась далеко-далеко, может быть на целых пять километров вниз, в какую то неизвестную нам, трущобу. Дорога блела на ярком весеннем солнце и радовала своею сухостью взор людей, стремящихся в Китай.... Теперь отряд круто повернул на запад, но в глубине долины, взяв направление на восток и скоро вошел в очень богатое село какого то монгольского племени и остановился на ночлег. Сразу же началась беззастенчивая охота за всякой живностью "на ужин". Жители молча, без всякого протеста, боязливо смотрели на эту картину, но и на их "каменных" лицах, я читал злобу немого безсилия. При уходе - им ничего не было уплачено.

В этом селе отряд нашел наш авион и сбросил пакет от генерала Алессандри, со следующим распоряжением:

"Отряду спешно идти в Сон Ля. По ту сторону Ривьер Нуар /Черной реки/ ему будут поданы камионы".

Восторг людей, увидевших "свой авион" - не поддавался описанию. И потому - что мы связались со своими главными силами и шли к ним. Радостные восклицания legionеров огласили весь бивак и сотни рук весело приветствовали летчика, который, получив условленный знак от нашего штаба, что распоряжение "разшифровано и понято" - он пролетел над нами в 50-ти метрах высоты, дружески улыбаясь, махая нам рукой. Его улыбающееся лицо можно было рассмотреть не вооруженным глазом.

Наша радость была понятна. Хотя отряд на своем пути еще и не столкнулся с японцами, но людей тяготила полная неизвестность и ощущение преследования сильного и жестокого врага. Теперь же, связавшись с главными силами - мы воспрянули духом: цель нашего марша была точна, ясна и близка к осуществлению.

19 марта отряд двинулся прямо на юг. Перевалив небольшой хребет, он спустился в лесистую глубокую долину. Перешел вброд широкую и быструю реку, где сделал большой привал в большом и богатом селе. Жители-аннамиты, в своих длинных белых и черных кафтанах шелковых и сатиновых материй, очень дружелюбно встретили нас. Был их праздничный день. Через начальника села были затребованы пища и фураж, что и было доставлено жителями быстро и охотно. Они щедро угощали всех своим пивом и подкой "шум-шум". На этот раз за все было уплачено.

Надо сказать, что за все время нашего отхода, мы не замечали с у г у баго к нам, как к Французской армии, враждебного отношения со стороны жителей-туземцев. За отсутствием телеграфной линии, они еще не знали о том, что

японцы атаковали французские гарнизоны во всем Индо-Китае. Если же многие уходили в горы и леса при нашем приближении, то только от страха грабежа, т.к. принимали нас за карательный отряд против "пиратов", т.е. против местных национально-политических повстанцев. Такие карательные отряды, в те времена, не слишком стеснялись с неприкосновенностью имущества мирных жителей, как и с самими жителями.

В 13 часов, резко переменив направление на 90 градусов - отряд выступил на запад и, через новья взвышенности и низины, подошел к горной речке.

Небольшое село за нею, оказалось, покинуто всеми ее жителями, как то узнавшими о нашем приближении, за исключением сельского старосты, который и представился сам нашему начальнику отряда.

Переночевали. На завтра, 20 марта, отряду предстояло ночью переправиться через Черную реку, до которой оставалось 30 километров.

Ранним утром отряд преодолел каменистый, поросший диким лесом перевал. За ним мы встретили большую партию политических аннамитов-арестантов, человек в 250, переселяющихся французскими властями из Сон-Ля в Нгжиа-Ло. Все они были отлично, по тропическому, одеты, хорошо упитаны и несли с собою постельные принадлежности очень хорошего качества и свои личные вещи. Все они были коротко острижены и однообразно одеты. Я принял их, сначала, за какую то специальную воинскую часть из аннамитов, при этом - "часть отборную". По нашему отрепанному виду, нас скорее можно было принять "за арестантов", но не их. Конвоировал их всех лишь один штатский полицейский француз не молодого возраста, вооруженный пистолетом.

Во все дни движения отряда по горам и долам, по бездорожью - он сильно растягивался. Длинная линия людей, порою в колонне "по-одному", по тропам в лесу и между валунами - шла как хотела. Так было и здесь. Мы офицеры, остановились и заговорили сначала "со стражем", а потом уж "с преступниками". Последние заявили себя "коммунистами", но выражали желание драться против "империалистической Японии" в рядах французских войск. Говорят они это с неподдельной искренностью и большой убежденностью. Несколько десятков из них уже получили оружие и вступили в отряд генерала Алессандри. На мой вопрос - чего, собственно говоря, они добиваются? - последовал ответ:

"Индо-Китай должен быть независимым государством".

"Как независимым?... От Франции?" переспросил я их главарей, говорящих очень бегло по-французски, думая, что они, в понятии "независимость", вкладывают, может быть, что то иное.

"Да! Индо-Китай должен быть самостоятельным государством и совершенно независимым от Франции" - смело сказали они совершенно спокойным тоном и без тени злобы на нас, как французов. Они, конечно, не знали, что я "русский".

"Идемте!... нечего с ними разговаривать!" с добродушной улыбкой, уверенного в себе властителя сих мест, говорит мне по-русски, что бы они не поняли, командан Токхадзе.

"А знаете", говорю ему, когда мы отошли от них - "А ведь японцы возьмут и мобилизуют всех аннамитов... составят из них чисто национальные аннамитские части и пошлют против нас!"

Горький опыт революции и гражданской войны в России, когда на территории этой величайшей в мире Империи образовалось множество независимых республик, которые дрались против "красной России", подсказал мне эту мысль. И вообще - 25 лет скитания за-границей, приучили меня глубоко и хладнокровно вдумываться во многие "вопросы", не бывшие раньше.

"Аннамиты, как солдаты, ничего не стоят", снисходительно улыбаясь, ответил он: "Да и японцы - никогда не дадут им оружия, т.к. они в них совершенно не нуждаются".

"Ох, дадут!!" коротко бросил я, а потом добавил: - "Аннамитов-то, к тому же, очень много, а нас то здесь мало... и своею многочисленностью, они могут сильно повредить нам "по возвращении".

В этом походе, все офицеры, и большинство легионеров, высказывали непоколебимую уверенность в том, что - "мы вернемся назад", и не позже как месяца через три и займем свое положение, как и раньше - как в колонии Франции. На чем основывались такие надежды - я понять не мог. Лично же я, как то подсознательно чувствовал, что начавшийся военно-политический кризис в Индо-Китае - затянется на-долго. Но мы все, и я, ошибались: - "Японское правительство в Токио, через свое военное командование в Индо-Китае, уже объявил Независимость Индо-Китая, назначило Аннамитскую администрацию и формировало Аннамитские национальные части войск", выполняя свой девиз: "Азия - для азиатов".

После встречи с этими "коммунистами", отряд снова спустился в долину и долго шел по руслу совершенно высохшей реки. Дно ее было каменисто-песчаное и идти было утомительно, в особенности для лошадей.

Вошли в богатое и большое село Ван-Би, где был устроен пяти-часовой привал. Отсюда, до Черной реки, оставалось всего лишь 4 километра. По словам начальника села, очень интеллигентного аннамита, он же и французский правительственный чиновник, который отнесся к нам очень внимательно - у Черной реки нас уже ждали "пироги"/большие лодки/ и небольшой отряд милиционеров-аннамитов, для помощи отряду при переправе.

Теперь мы почувствовали себя почти что в полной безопасности от японцев и в непосредственной близости к нашей цели, где находились наши главные сиды. Это настроение и обильный горячий обед - сильно подбодрил легионеров. Почти все офицеры были гостями у чиновника на обеде с хорошим угощением и выпивкой. Я туда не пошел сознательно, ощущая грусть....

При последних ярких лучах заходящего солнца - отряд подошел к так знакомой нам в ее нижнем течении Ривьер Нуар /Черная река/, которая здесь была не так широка, но довольно многоводная. Что-то родное почувствовал я при виде реки, думая о том, что неподалеку от ее впадения в Ривьер Руж/в Красную реку/, осталась моя семья, и очень многое, с чем успел сжиться за два года службы в Иностранном Легионе Французской армии. Мне казалось, что ее вода, ее волны, снесут восточку обо мне жене и сыну. Хотелось бросить в реку запечатанную бутылку с запиской в ней -им, одиноким, совершенно не знающим - где мы и что с нами? Но этого сделать было, и невозможно и бесполезно. Тогда я сел на корточки у нее, три раза зачерпнул пригоршей воду, и выпил за благополучие - жены, сына и себя. Странно это, но мне от этого стало легче на душе!

Очень brave, расторопные, воински-отчетливые, хорошо сложенные милиционеры-аннамиты, быстро подали нам свои "пироги" с того берега. Их было 5 или 6, с четырьмя гребцами в каждой.. Одна пирога могла поднять только 6 наших легионеров, а в нашем отряде их было до 600. Явно, что переправа должна затнуться. Все лошади пойдут вплавь.

Первыми переправлялась 7-я рота капитана Куран. Я был при ней. И только что переправились - как наступила полная ночная тьма. Пройдя 2 километра - она переходит по нависному бамбуковому мосту через очень быструю речку, по своей легкости - танцующими под ногами. Лошадей можно вести только в поводу.. За мостом село Та-Би, откуда шла шоссированная дорога в Сон-Ля и танулась телеграфная линия. Но мы были разочарованы в своих ожиданиях: камионы не были поданы и телеграфная линия не работала, вот уже, два месяца. Я был послан назад верхом на лошади, что бы обо всем доложить командиру батальона.

Стояла темная ночь, когда подошли остальные роты к мосту и остановились. Доложив обстановку - получил приказание "найти брод для лошадей".

"Где же и как его искать в такой темноте?" ответил батальонному.

"Найдите!"... определенно ответил он, тоном приказа.

Со своим маленьким конем, вповоду, бреду ощупью меж кустарниками по высокому обрывистому берегу реки. Никакого спуска к не^е. Метрах в 200-х, ногами нащупываю тропинку. Спустился к реке, сел в седло и вошел в воду. При свете мелькнувшей из-за туч луны, замечаю легкий перекал воды по каменистому дну реки. Пускаю по перекалу своего умного энергичного коня, но у противоположного берега он вдруг срывается в промоину и погружается весь в воду. Умное животное рывком выскакивает из полыни и через несколько метров, после холодной и неприятной ванны - я на том берегу... Соскакиваю с седла на сушу и, держа коня за повод, иду по берегу ища подема, т.к. берег очень крутой. Нашел его и выбрался. Кричу подошедшим с лошадьми и вьюками легионеров - "как и куда надо идти в воду?" Дождавшись их перехода - спешу к головной 7-й роте. Скоро нахожу ее и весь штаб отряда, расположившихся на ночлег в маленьком селении. Привязав коня и дав ему зерна, бережно возившего его с собою - ищу место ночлега для себя.

В мокрой одежде и с мокрым седлом под голову, располагаюсь на земле у двери полу-хижины полу-сарая, занятых сержантами и вестовыми штаба. Все они довольно широко и вольготно расположились на хозяйских матрацах т.к. жители бежали в горы. Я прошу потесниться и дать мне место, но они, уже успевшие пружинать, отвечают:

"Все места заняты"...

Такая безцеремонность меня бесит в обращении с офицером, но я уже насмотрелся "на легионские нравы в походе", почему и сдерживаю себя.

Поздней ночью подошли остальные роты батальона и за отсутствием жилых помещений и сараев - расположились под открытым небом. Я пошел к ним, как и посмотреть своего коня - "выел-ли он корм?" Но... кто-то уже украл торбу с ячменем и мой конь, холодный и голодный, требовательным ржанием и топотом передней ноги, встречает меня. Где-то достал травы, дал ему, а сам злой иду к одной из прибывших рот, ужинающих. У них был хороший запас еды и легионеры-мадьяры, с удовольствием накормили меня, своего офицера-иностранца.

По многим причинам, легионеры недолюбливали офицеров-французов, как представителей Нации, но к офицерам-иностранцам, вот как я был, "безподданный" - относились внимательно, даже с любовью, доверительно в разговорах, т.к. сами они были "иностранцы" в Легионе, и по многим личным событиям, попали в него.

Вскорости, весь отряд, усталый и издербанный ночной переправой, заснул мертвым сном. Оставшаяся позади Черная река, обеспечивала теперь нашу безопасность со стороны японцев.

На утро 21 марта - последний переход в Сон-Ля, цель нашего 12-ти дневного марша. В него мы вошли с закатом солнца и вольготно расположились по аннамитским пайоткам /хижинам/. Настроение было повышенное от сознания, что мы соединились с главными силами и окончательно вырвались из могшего быть окружения японцами. Повсюду быстро запылали огни-костры, поднялся оживленный, как всегда, гомон легионеров и немедленно же началась "охота" за домашней живностью на ужин. Жители же собирали спешно свои пожитки и испуганно покидали свои жилища, убегая неизвестно куда...

Легионеры, при всей своей отчетливой дисциплине, очень легко относились к туземному населению, особенно тогда, когда надо было есть.

Поздно вечером к нам прибыл генерал Алессанри. Он крепко пожимал руки офицерам и поздравлял с удачным окончанием трудного нашего похода. Осветив обстановку - приказал утром выдвинуть одну роту за 40 километров вперед по дороге к Ханю, на поддержку головного отряда полковника Франсуа, командира 1-го Тонкинского полка стрелков-аннамитов, состоявшего лишь из одного батальона. Из этого полка ушел с нами только этот батальон, находившийся в нашем гарнизоне Тонг. Остальные батальоны стояли в самом Ханое и были разоружены японцами. Многих они распустили по домам а офицеров-французов и аннамитов, заключили там-же в лагерь.

Остальные два батальона, стоявшие в Ханое, были разоружены японцами и отпущены по своим домам.

Утром 28 марта, наш батальон получил кое-какое, довольно примитивное, обмундирование и обувь, и много всевозможных консервов. Это сильно подкрепило всех. Но еще большее впечатление произвело появление в тот день авионеров из Китая "Свободной Франции" генерала де Голя, сбросивших всему отряду оружие и человек шесть парашютистов-аннамитов, имевших базу в Чункине, главой которой, от нового Французского правительства, был генерал Пешков, сын Максима Горького, бывший легионер. Это было очень приятной неожиданностью, которая заставила нас почувствовать установление прочной и "живой" связи с Европой, от которой мы были оторваны 4 с половиной года. Нам казалось, что мы вступаем в новую и твердую стадию борьбы против японцев. Генерал Алессанри назначен был от де Голя Генерал-губернатором Индо-Китая "Свободной Франции".

- . -

При каждом батальоне имелось 10 конных "эстафетов". Из них, на 2-й же день нашего отхода, в нашем батальоне, осталось только четыре. Потом их стало три. Меня, как кавалерийского офицера, назначили быть конным и вести разведку. Это было чрезвычайно опасное задание в горах и лесах. Только благодаря военному опыту и чутью, мне удалось два раза избежать гибели.

Дело в том, что война против японцев в Индо-Китае, в здешних джунглях, была совсем не похожа на войну в Европе. Это была, скорее, партизанская война в горах и лесах, и на короткую дистанцию и где штык японского солдата оканчивал жизнь отсталых, пленных и раненых, т.к. "возиться" с ними в этой далекой и малонаселенной местности, было некогда и не к чему. К тому же, эта война была и "рассовая", целью которой японцы поставили изгнание европейцев из Азии. Выброшенный ими лозунг "Азия для азиатов", был очень опасен для французских войск здесь, малочисленных и так удаленных от своей Метрополии, к тому же, не имевших моральной поддержки от местного населения.

22 марта, 6-я рота капитана Комарова была отправлена на кампонах к головному отряду. Туда же выступил и штаб нашего батальона. Три остальные роты остались в Сон-Ля.

Мы на позиции. Кругом горы, лес и гробовая тишина. Все жители окрестных сел куда-то скрылись.

23 марта, головному отряду приказано отступить к Сон-Ля. Мост через реку был уже взорван. Найдя брод для арьергардной роты, я оставил тут верхового эстафетчика, приказав ему указывать место перехода для подходящих групп легионеров. Но этот эстафетчик-немец, самовольно оставил свой пост и уехал со штабом батальона на перевал, за 6 километров от брода. Из-за этого переправа сильно задержалась.

"Вы почему ушли со своего поста?" спрашиваю его строго, потом.

"Я был голоден... и мой конь не стоял на месте" - был ответ.

Сержанты штаба весело разсмеялись на это, и так добродушно, словно перед мною стоял провинившийся школьник, а не солдат, совершивший преступление на линии фронта.

Вечером 24 марта, наша 6-я рота отошла в самому Сон-Ля. Нас, конных, выслали на ночь за 7 километров впереди сторожевого охранения, для наблюдения за дорогами. Условились, что - в случае обнаружения движения японцев - с перекрестка дорог, дать знать друг-другу.

С легионером-поляком Маркоссала, мы ушли на боковую дорогу. Через 7 км. вошли в село, собрали жителей и демонстративно сказали им, что завтра придёт сюда наш батальон, а мы только разведчики. На ночь же - отошли назад и расположились у мостика, через лесной ручеек.

Нам сразу-же схватила сырая ночная прохлада. Плохо одетые, мы жестоко мерзли всю ночь. Было очень жутко оставаться вдвоем в лесу и далеко от своих войск. Ко всем этим нашим тревогам, присоединилась еще одна: у меня был очень энергичный жеребчик, а у моего legionера кобылка. Всю ночь мой жеребчик громко ржал и рвался к кобылице. Таким образом, наше присутствие легко было обнаружить японцам и захватить нас. Это была третья ночь, без сна.

На утро мы двинулись вперед, к селу. Мы удивились, что никто из жителей не появлялся во дворах. Село было пустым. Показавшийся в дверях сын старосты, бегло говоривший по-французски и любезный с нами вчера - сегодня он недружелюбно посмотрел на нас, потом взял "колотушку" и забарабанил в "гонг", издавая тревожные предупредительные звуки, понятные нам. Стало ясно, что жители уже знают о приближении японских войск и прятались от французов. Дав тревогу - он скрылся в свою "паетку"/хижину/. Вдруг послышалась пулеметная стрельба там, где было наше сторожевое охранение, т.е. в тылу у нас. Надо было спешить туда, что бы не быть отрезанными от своих.

Внехав из села шагом, перевели лошадей в широкую рысь. Стрельба усилилась. Мы торопились к перекрестку дорог, что бы связаться с охранением. Мы скачем прямо на пулеметную пальбу. Мозг свирлится опасением, что если японцы займут наш перекресток дорог - мы погибли. Мой legionер, молодой поляк, испуганно бросает взгляды на все отходящие к западу лесные тропы, ища в них спасение, но я знаю, что эти тропы коротки, местные и на них скоро застрянешь в лесной чаще, поэтому, надо идти прямо, по главной дороге.

За один километр до перекрестка, по ту сторону дороги, где мы оставили наши аванпосты - слышны голоса перекинувшихся людей. "И в бою наши legionеры шумливы" - возмущаюсь я в душе.

Мы у перекрестка, но здесь никого из наших нет. Пулеметная стрельба впереди вдруг прекратилась и воцарилась зловещая тишина, словно все умерло и только слышны все те-же крики за дорогой, в лесу. Я хочу сказать на восток по главной дороге к нашим аванпостам, что бы выяснить обстановку, но какая-то неведомая сила остановила и подсказала иное решение: - самому остаться здесь у перекрестка, а legionера послать в тыл, в расположение 6-й роты капитана Комарова и там узнать - что-же происходит?!...

Проскакав метров 200, legionер остановился и резкими тревожными взмахами головы убора, зовет к себе. Скачу к нему. Из лесу выходит legionер чех нашей роты, высокий стройный молодецкий и с критической улыбкой долаживает мне, своему славянику, что - "наши аванпосты давно сняты... и на их месте находятся уж японцы... 6-я рота должна сняться сейчас-же и ступить... а я оставлен здесь, мой лейтенант, что бы обо всем этом доложить Вам" - закончил он, так хорошо известный мне этот legionер-славянин.

Все это было для меня больше чем возмутительно. Запоздай мы на 5 минут, или, если бы я двинулся на восток - наткнулся бы "в лоб" на японцев и результат был бы более чем печальный для нас. Они в плен не брали...

Через несколько минут я в штабе батальона и докладываю капитану де Кокборну, что - "соседние конные дозоры на главной дороге, вопреки условности распоряжения, непредупреждая нас и отошли к роте, как отошло с ними и сторожевое охранение и мы едва успели проскочить перекресток". Он слушает меня внимательно, а потом, махнув рукой, выкрикнул свое любимое: - "О, мерд аллор!... но верхом всегда можно уйти по лесным тропам!"...

Это была чушь. Он очень нервничал и я не стал доказывать ему противное, как и то, что нас "подводили" свои, его-же подчиненные.

"Оставайтесь с 6-ю ротой здесь" - добавил он и со штабом пошел в тыл.

Штабной грузовик получил поломку, был брошен на шоссе и подожжен. 6-я рота, спустившаяся с горы, спешно разобрала ящики с мясными консервами, с американскими белыми галетами и с местной рисовой водкой - вытянулась по шоссе в тыл, на ходу утоляя свой голод. Я шел далеко позади роты с

с четырьмя сержантами. Своего очень уставшего конька веду в поводу.

"А кто же находится в арьергарде?" спрашиваю заслуженного и очень авторитетного "аджудан-шефа" /старшего подпрапорщика/ Букалова, из Воронежа.

"Да вот мы, вчетвером!" весело отвечает мне 50-летний служака, после закуски с водкой.

"Как?.. позади никого нет?" удивленно переспрашиваю.

"Да никого", отвечает он по-русски. "Весь мой третий взвод ушел куда-то вперед, а я тут остался только со своими сержантами" - весело и беззаботно отвечает он.

Я сажусь верхом, догоняю командира 6-й роты капитана Комарова и спрашиваю его насчет "арьергарда".

"Да там остался третий взвод с аджудантом Букаловым", отвечает он мне по-русски. И когда я ему деложил, что кроме Букалова с четырьмя своими сержантами, позади никого нет - он выкрикнул:

"О, мерд аллер! /О, чорт их возьми! / Третий взвод СТОЙ! СТОЙ!" И с ним дождавшись своего фелдфебеля роты Букалова - установил "арьергард".

10 километров по хорошей дороге пройдены быстро. Перед городком, весь интендантский квартал и соседние с ним аннамитские хижины - были сожжены до-тла. Из еще не подожженного здания разбирали все, что там было, главным образом оружие. Мне вручили маленького размера револьвер системы Смита и Вильсона со свинцовыми пулями. До этого я не имел никакого огнестрельного оружия, положенного офицеру, кроме карабина, которым вооружился сам добровольно. Хотя и у многих офицеров не было револьверов и они также, добровольно вооружились карабинами. Стрелял ли этот мой полугрушечный револьвер, я не знаю, но испробовать его - мне запретили.

Длинный мост перед Сон-Ля был взорван и арьергардная 6-я рота, переходила речку вброд. Вообще же - взрывалось и уничтожалось все, что бы ничего не досталось японцам.

Войдя в Сон-Ля - рота расположилась на отдых. Весь городок раскинут на очень высоком плато, над обрывом, откуда было видно все, что находилось глубоко внизу. Это был один из опорных пунктов, благоустроенный и очень важный. Мне казалось, что эта твердыня неприступна и мы задержимся здесь по крайней мере, на несколько дней.

Проходясь вдоль единственной улицы, я замечаю, что все казенные постройки брошены, загажены и разбиты. Делаю вывод: значить Сон-Ля защищать мы не будем. Все французское административное управление этого района и местная милиция из аннамитов, переведена за 4 километра на север, так же и казенные постройки и там будет ждать японцев.

Опустел и лазарет. Очень нарядный новенький санитарный амбуланс стоял на шоссе с аннамитским санитарным персоналом, готовый отойти в тыл. В гараже стояла прекрасная машина самого Резидента. Красивые кирпичные дома европейского типа, с оранжереями, с цветниками, с опощными огородами, с курами мирно дремлющими на солнышке - говорили, что хозяева только что покинули все это. Дома были заперты. Окна закрыты ставнями. Этот чисто европейский и очень нарядный уголок на очень высоком шпиле, среди дикой и глухой азиатской обстановки - как то особенно ласкал глаз, и в то же время вызывал грусть, подчеркивая наше бессилие и одиночество здесь.

И сейчас все это выглядело м е р т в о . .

Над одним кварталом, среди широкого двора, возвышался Дворец Резидента так же наглухо заколоченный. От него, по очень крутому спуску-обрыву, в глубокую долину, спускалась прямая как стрела широкая цементная лестница во много сот ступеней. Все это было предназначено что бы скрашивать вечерний отдых того, кто правил этим полудиким Краем, назначенный из Парижа..

Навстречу мне прошла толпа легионеров, нагруженных предметами военного обмундирования, с пачками табака и бутылками прохладительных напитков. Спрашиваю: - "Откуда все это?" Отвечают, что из покинутого квартала

местной аннамитской милиции. Иду туда и встречаю капитана Комарова с двумя охотничьими ружьями. Страстный охотник, он не удержался и взял их в брошенном магазине. Бедняга и непредчувствовал, что жить ему оставалось всего лишь пять дней... За ним, его легионер, нес прекрасное новое седло, при виде которого, мое сердце конника, заняло от зависти...

Я во дворе квартала-крепости милиционеров. Богатое бюро со многими пишущими машинками и канцелярскими принадлежностями раскрыто настежь и каждый входящий может взять себе все, что ему надо. Вещевые склады переполнены запасами различного обмундирования и личными вещами в сундучках милиционеров, разбитых и брошенных. Богатейший склад оружия до музейного включительнр, спортивных принадлежностей и тюки различного казенного имущества - все это было наспех брошено на расхищение после того, как все это заботливо накапливалось и собиралось многими годами.

Осмотрев весь квартал-крепость, я вышел оттуда обуреваемый самыми грустными мыслями. Внизу, в глубокой долине, стояла мертвая тишина. Где японцы? - мы не знали. Подойдя к городку, они, видимо, закамouflаживались в лесу, т.к. наши позиции господствовали над всею окружающею местностью.

Легионеры 5-й и 6-й роты лениво бродили по улочкам, изнывая от безделья. Офицеры где-то завтракали. Так в нудной и гнетущей тишине прошел весь день. Остальные две роты нашего батальона отошли куда-то далеко назад, в тыл. Весь наш отряд генерала Алессандри, пять батальонов, растянулся на много километров в глубину, в тыл, уступами, по единственной дороге.

Посланный с приказанием в 7-ю роту за 6 километров от городка - на обратном пути, уже в темноте, встретил обе наши роты, 5-ю и 6-ю, оставившие без боя этот прелестный европейский городок Сон-Ля, одну из Французских резиденций в Индокитае

"Почему оставили без боя Сон-Ля?" - удивленно спрашиваю я командира арьергардной 5-й роты капитана Бэссэ.

"О-о... Элизэ!" - протянул он многозначительно. "Мы услышали приближение к нам японцев... и если бы не отступили, то были бы уже все убиты или захвачены в плен"...

Капитан Бэссэ очень добрый, мягкий и хорошо воспитанный человек лет 48-ми от рождения. Военным он стал, как говорил мне, совершенно случайно, поэтому я "ничего" не ответил ему на такое странное и наивное оправдание.

Мы отходили всю ночь. Пройдя через очень узкие ворота в горах следующего перевала, по зигзагообразной шоссированной дороге спустились в узкую долину и, в полной ночной темноте, расположились биваком в одном километре от перевала. Перевал заняла 7-я рота капитана Курана силой в 35 легионеров, все что было в его роте после переправы через Черную реку.

Настало утро 26 марта. Оказалось, что мы остановились в высоких зарослях прошлогодней травы-бурьяна, без единого жилья здесь. До воды было около 6-ти километров. Сюда прибыл с тыла генерал Алессандри со своим штабом и другими высшими начальниками. У них шло долгое совещание. Потом все прибывшие, и Алессандри, выехали в свой тыл.

День прошел утомительно, и нудно и тихо для всех в этой печальной котловине без воды и без малейшего представления о противнике - где он?

К вечеру я был послан к арьергардной 7-й роте с письменным заданием: - произвести разведку в направлении Сон-Ля и выяснить - где японцы?

Капитан Куран, со мною и несколькими сержантами, продвинулся вперед километра на два по дороге, но противника не обнаружил.

Скоро прибыл новый конный эстафетчик капрал Эхлерт, немец, с новым распоряжением от капитана де Кокборн. Каково оно было - капитан Куран мне не сказал.

Наступили сумерки, как вдруг японцы открыли по роте сильный огонь и с очень близкого расстояния. Куран спешно снял свою роту с позиции и оставил

перепал. И это они произвели, когда мы, "разведчики", только что вернулись на свои позиции. Сняв роту, Куран двинулся вниз по шоссе, потом вернулся с нею назад, приказав нам, двум конным, ждать его "здесь", и с нею скрылся в темноте. Мы, с эстафетчиком Эхлерт, держа лошадей в поводу, остались в непосредственной близости у "щели" перевала. Была темная ночная мгла и немая тишина. Мы долго ждали возвращение роты. Наконец зловещее молчание подсказала мне, что-то недоброе. Повинуясь воинскому инстинкту, мы вдвоем, держа лошадей в поводу, тихо тронулись вниз. Что бы сократить длинный зигзагообразный путь по дороге - взяли боковую тропинку по лесу и спустились.

"Кто идет?" раздался вупор тревожный оклик сержанта нашей роты Павлик

"Эстафеты!" отвечаю, и мы неторопливо подходим к разсыпанному в цепь его немногочисленному взводу легионеров, с одним пулеметом.

От него мы узнали, что 7-я рота капитана Курана, спустилась сюда, также, тропой; капитан пошел в штаб батальона, предупредив сержанта, что впереди никого нет. Вот почему наше появление было для него полной неожиданностью. Он ждал только японцев...

"Мон льеутенант!... уходите от нас как можно скорее... сейчас могут появиться японцы, а Вы с лошадьми будете для них хорошей мишенью!" докладывает мне сержант Павлик, чех, очень учтиво, но настойчиво.

Усумнившись в возможности такого быстрого появления здесь японцев, да еще ночью в такой глубокой и узкой котловине - я, все же, со своим спутником, капралом Эхлерт, тихо двинулся дальше, в тыл. Но не прошли мы и 75 метров - как затрещали японские выстрелы и пули пролетели над нашими головами.

Вышло так, что японцы следовали непосредственно за нами-двумя; и задержись мы еще несколько минут на перевале, и не сверни на тропу с главной дороги, как днем светящейся своей белизной - были бы захвачены, иль убиты.

На японские выстрелы, сержант Павлик немедленно же ответил ружейным и пулеметным огнем. Навстречу бежит взволнованный капитан Куран, а вслед за ним командир батальона капитан де Кокборн. Увидев меня, стоявшего с конем на дороге - он нервно и грубо выкрикнул:

"Элизэ!.. спрячьте Вашу лошадь!.. ее ведь могут ранить, иль, даже, убить!"

"Если я сам не прячусь, так что же разговаривать о лошади!" отвечаю ему в тон.

"О, мерд аллор!"/т.е. - чорт бы Вас побрал!/ выкрикнул он свою любимую фразу-ругань. "Вас убьют - это ничего!... а за лошадь надо будет отпечатать! - обиженно-раздраженно бросает он и скрывается во тьме.

Завязалась жаркая перестрелка с обеих сторон в полной темноте. Пули роем неслись над головами. На всякий случай, свел своего конька с дороги. Ко мне, пригибался от пуль по водяной проточине шоссе, бежит какой-то фигура.

"Сэ муа! /это я/, сержант Боссо"/португалец/, предупреждает он меня. "Я ранен, мон льеутенант!" поясняет он на ходу. Он ранен в микоть руки, надылет.

Перестрелка длится с час времени и вдруг - сразу стихает. Я присоединяюсь к штабу батальона, при котором служу "конным разведчиком".

Все негромко переговариваются о событиях. Я в их разговор не вступаю, т.к. мое мнение о их военной тактике, совершенно расходится.

"Элизэ! ..а где же конный эстафет Состер?" спрашивает меня капитан де Кокборн.

Оказывается - он послал его в 7-ю роту на перевал, с новым, третьим, своим несуразным распоряжением, перед самым нашим отходом оттуда, и он до сих пор не вернулся. Нам стало ясно, что несчастный Состер, разминувшись с нами - попал прямо в руки к японцам. Это был тот самый конный эстафетчик кто несколько дней тому назад, самовольно покинул свой пост у брода. Потом, среди пленных, его не оказалось. Явно - японцы приколотили его штыками.

В Иностранном Легионе Французской Армии, всякий легионер-иностранец, является существом "без рода и племени". Умрет-ли он, или будет убит, он вычеркивается из списков "как номер" и только. Никаких родных и наследников у него нет и недолжно быть. Его вещи продаются в роте с аукционного торга и поступают в роту, или батальон. Это относится и к офицерам-иностранцам. Все они считаются "селибатэр", т.е. неженатыми, хотя бы и имели законных жен. В случае гибели - семья не получает ни чего. Вот почему капитан де Кокборн и берег моего казенного коня, считая его "дороже", чем гибель в бою офицера-иностранца, в данном случае, м е н я . . .

Только что был закончен разговор о пропавшем конным эстафетчиком, как Кокборн что-то вспоминает и... находит мне новую ночную работу: - "най-ти и вернуть сюда санитарный амбуланс и батальонный грузовик с продуктами, которых он отправил в тыл в спешном порядке, при начале стрельбы". На мой вопрос - где их искать? - последовал ответ:

"Там, где-то в тылу"...

"Где в тылу?.. В какое село Вы их отправили?" - уточная вопрос.

"О, мерд аллор!.. что за вопросы?.. Может быть в 5-ти, в 10-ти, или в 25-ти километрах отсюда" - выкрикивает он. "Прикажите им вернуться, а сами немедленно-же возвращайтесь сюда" - закончил он.

Я отыскал их в 6-ти километрах, у ручья, нашего единственного водопоя. Снова всю ночь пришлось быть в передвижениях и только под утро, уставший и голодный, как и мой маленький местный конек - я остановился возле какой-то группы легионеров и тот-час же уснул на земле как убитый - в лесу, у дороге. Это была 4-я моя ночь изматывающих мои физические силы без толковых распоряжениями батальонного командира капитана де Кокборна.

С раннего утра 27 марта перестрелка возобновилась на том-же месте, что и вчера, только гораздо более ожесточенная. Скоро появились раненные. Некоторые тяжело. За 30 минут боя, ранено четыре офицера. Один из них только что произведенный из юнкеров молоденький су-лейтенант /подпоручик/, с тяжелой раной в шею - лежал у штаба батальона полураздетый, весь в крови, под дождем, нудно моросивший с утра и теперь усиливающийся. Рядом лежало до 15-ти раненных легионеров 7-й роты, которая до боя имела 35. Кокборн, с сильным волнением, приказывает мне "скакать галопом" за нашим санитарным амбулансом, который он опять отправил в тыл, как только что началась перестрелка. Такой беспорядок... Скачу и, в счастье, скоро нахожу его и возвращая к раненым.

Прибывает генерал Алессандри. Увидев раненных и узнав обстановку - приказывает 5-й и 7-й ротам немедленно-же отступать, но эти роты уже сами начали отход отдельными группами и по единственной дороге. При виде этого отхода - нервно расцуетились радио-станция, кухни, обозы. Спешно погрузив раненных - все торопливо двинулись на запад.

Ровно за 5 минут до нашего отхода, для обеспечения левого фланга, оставлен взвод легионеров под командой младшего адъютанта /подпрапорщика/ Хардувалиса - он не присоединился к батальону, был отрезан японцами, безоружен и через день переколот штыками....

Хардувалис - грек из Константинополя. Там окончил французский лицей. Молодой, классически красивый, культурный - надо было удивляться - почему он пошел "в безправный легион?". Вчера я видел его у дороги. Взвод легионеров был спрятан в чаще леса. Стоя на одном колене и опершись на карабин - зорко всматривался он вперед, откуда могли появиться японцы. Его красивое молодое лицо с умными ясными глазами, этого всегда веселого молодого человека, было очень печально. Из одного дырявого ботинка выглядывали голые пальцы, что несколько не уменьшало его воинской красоты.

Всегда веселый, всегда почтительный ко мне как к единоверцу Православному и как к старому офицеру Российской Армии /он знал, что я

родом казак/- бросив короткий взгляд на меня, произнес грустно:

"Адью, мон льеутенант!" /прощайте господин лейтенант!/-

Мне и не вдомек было тогда, что он произнес "прощание", вместо принятого "о-февуар" т.е. - досвиданье. Его богатая душа, видимо, интуитивно предчувствовала свою гибель. Больше его я не видел.

5 и 7-я роты, пройдя 6 километров, остановились. Отход прикрывал взвод авиаторов, состоявший сплошь из офицеров, аджудантов и сержантов, остановившийся на позиции в 2-х километрах позади рот. Я был послан к ним с письменным приказанием: - "С первыми же выстрелами со стороны японцев - сняться с позиции и отходить вслед за легионерами". И только что я передал это приказание старшему капитану среди них - как затрещали "первые выстрелы". Они быстро снялись и так же быстро вытянулись по дороге, между двух стен тропического леса.

Начался отход "перекатами", по-ротно. Скоро нас прикрыла баталионная пулеметная рота, "моя рота". Я в ней прослужил два года и прекрасно знал всех людей. Минувя ее, я встречаюсь с легионером-немцем Блюм, стоявшим на посту у дороги. Это он принес мне в тот памятный день в гарнизоне "первое распоряжение о тревоге". Сегодня у него какое-то необычайно грустное лицо. И почему-то, вместо привычного "о-ревуар Блюм", т.е. до-свиданья, я бросил ему на ходу "адью" - прощайте. Сказал и подумал: как это у меня выскочило это слово? Нехорошее предзнаменование!

Через час он был убит разорвавшейся японской бомбой и брошен там же на дороге.

Справа от дороги разсыпан взвод в цепь этой же роты, под командой бравого высокого и спортивного сержант-шефа /старший унтер-офицер/ Пиль, австриец из Тироля. Увидев меня, он издала машет мне рукой, чем говорит - "Бон жур мон льеутенант!" /Здравствуйте/. Весело отвечаю ему тем же. Но больше его не увижу: - в этот день он будет отрезан японцами от своих сил, уйдет со взводом в горы и леса, там его взвод распылится, и он один, в сопровождении легионера пройдет многие десятки километров и лишь в самом Китае, присоединится к своим войскам.

5 и 7-я роты занимают позиции позади пулеметной роты /без пулеметов/, у ручья, мост через который уже взорван. На кампоне под, ехал капитан де Конборн и привоз всем ротам мясные консервы и бошня галеты. Наша 6-я рота капитана Комарова находится где то в тылу нас. Дав распоряжение: - "По условному сигналу - выстрел из бомбомета - с наступлением темноты, отходить назад" - он снова уехал в тыл.

У моста появились новые раненные легионеры, а из нашей пулеметной - сержант-шеф Пляш и капрал Сзекерс - оба немцы. И хотя они были ранены не серьезно - их сопровождало, почему-то, человек шесть легионеров с фельдфебелем роты аджудант-шефом Тительбах - немецкий еврей. В бою он потерял свой пробковый тропический шлем.

"Условный знак" не удался, т.к. бомбомет дал осечку. Но и без него, часов в 20 /8 вечера/, во всю ширину долины метров в 200 - одновременно затрещали выстрелы трех рот баталиона, общей численностью до 150-ти, и потом, минуты через три - все смолкло. И вся эта масса людей, сплошной шеренгой, шумя и громко разговаривая - двинулась в тыл. Это было для меня новый способ "двукрошаж", т.е. с к р ы т н о е от противника оставление позиций, с целью - незаметно оторваться от него и отойти. Здесь же делалось все это громко, шумно, т.е. - в противовес здравому смыслу. Впрочем - тут японцы нас и не преследовали.

Перейдя реку - колонна построилась "по-четырем", и по хорошей колесной дороге - тронулась дальше в тыл. В ночной тишине громко звучали голоса

легионеров, оживленно делившихся впечатлениями дня. Но, какими?.. в этом трудно было разобраться. Во всяком случае, драться против регулярной японской армии никакого энтузиазма у них не было. Другое дело подавлять возстания в колониях, для чего, собственно говоря, и был создан Легион... Я-же думал, что наши потери сегодня, при нашей малочисленности, были велики.

Долина расширяется километра на два и замыкается грядой гор, у подножия которых ютились маленькие туземные деревушки. Речка, отойдя далеко от нашей дороги, делала потом большую дугу и круто сворачивала к нам. Наша дорога тоже скоро повернула на 90 градусов на юг. За поворотом мы встретили 6-ю роту, которая должна была прикрывать наш отход. Через один километр дорога повернула на запад и по широкому железному мосту, роты перешли реку и вошли вновь в очень широкую долину со множеством сел. В 2-х километрах отсюда, я нашел свой штаб батальона. Увидев меня, капитан де Кокборн послал меня назад, к капитану Комарову со словесным приказанием - "разрушить мост и немедленно отходить".

Возвращаясь к мосту и передаю приказание.

"Мерд аллор!... да Кокборн уже приказал мне это на-словах! Чего это он гоняет Вас зря?" - говорит он мне по-русски с возмущением.

Возвращаясь к штабу, но он уже снялся и с тремя ротами ушел куда-то в тыл.

В ночной тишине, скорой иноходью моего усталого конька, иду часа полтора и недогоню своих. Куда ушли роты - мне было неизвестно. Кругом ни души. Наконец, везжаю в большое село, где и нахожу роты и обоз. Легионеры жадно едят горячий суп с мясом. Я этого не имел давно. На кухне 5-й роты получаю щедрый "рацион" /порцию/ и так-же, как и легионеры, жадно с, едаю его. И только что был закончен ужин, как приказано немедленно-же двигаться дальше в тыл.

Тронулись. Меня обгоняет верхом на лошади начальник всех здесь сил Легиона командан Токадзе. Он грузин, в Тифлисе окончил русско-Грузинскую гимназию и потом Тифлисское-же пехотное военное училище при независимой Грузии, теперь является кадровым офицером Легиона Французской Армии.

Мы идем с ним очень далеко впереди рот. Говорим по-русски. На стыке 2-х смежных сел, нас строго кликает часовой 1-го нашего батальона:

"Ки ля?" /Кто там?/

Легионеры очень отчетливо отдают воинскую честь. В данном случае, узнав голос Токадзе и увидев в темноте его крупную импозантную фигуру в кепи - часовой и ночью отчетливо и образно отдал ему воинскую честь.

На нашем пути все мосты и мостики были уже взорваны, что вызывает немалые затруднения в переправах людей. Мы идем и идем в тыл, торопясь с 7-ми часов утра. Долго идем в гору. Становится холодно. Ровно в полночь проходим узкие ворота перевала и видим большое белое здание. Это была таможня. Дом стоял в середине маленького дворика. Все здание было занято спящими стрелками-аннамитами, а двор лошадьми. Здесь не было ни воды ни корма. Привязав своего конька к одиночному столбу за оградой и задав ему белого риса - с седлом приютился где-то между солдатами-аннамитами и немедленно-же заснул сном измученного человека, 5-е сутки неспавшего....

Настало очень холодное утро 28 марта. За ночь мой конь сильно продрог. Риса он не тронул и увидевши меня, резким ржанием требовал еды, которой я не мог достать здесь.

У перевала стояли - генерал Алессандри, полковник Франсуа и командан Токадзе и что-то озабоченно обсуждали. За ночь подошел наш 2-й батальон и расположился биваком непосредственно за вершиной перевала. 1-й наш батальон и батальон стрелков-аннамитов полковника Франсуа, прикрывали наш отход впереди перевала.

Весь день 28 марта наш батальон "отдыхал" в пустынной гористой местности и... без воды.

С утра вчерашнего дня, 5 и 7-я роты, прошли около 60-ти километров по горам и долам. Это было много; при этом потеряв два взвода пленными и 15 legionеров ранеными. Ранен батальонный адъютант лейтенант Лехалер-Пепен.

Утром 29 марта, мимо нас прошли оба батальона с той стороны перевала, оставив его. Через час времени, наш 2-й батальон снялся с бивака и так же стал отходить вниз.

Громадный горный массив Дэмэйо, своими седловатыми перевалами, словно верблюжьими горбами, тянулся километров на 5-6. Батальоны проходили его "перекатами". К вечеру, наш батальон занял последний изгиб массива всеми своими четырьмя ротами и взводом авиаторов.

После отхода от Сон-Ла, войска стали чувствовать недостаток питания, что отражалось на психике людей. Все стали злыми и унылыми. Но именно здесь на этом перевале, и в этот день 29 марта, впервые за 4 года - мы получили американские и французские иллюстрированные журналы и кое-что узнали о том, что делается в Европе, и в стане союзников. Их нам сбросил американский летчик из Китая. Все были обрадованы этим. Даже, вызванное раздражение недостатком питания - несколько улеглось. Все обратили внимание на очень болезненный вид президента Рузвельта на приведенных в журналах фотографий. Но мы никак не предполагали, что он скоро умрет.

При перемене батальоном позиции - я получил от батальонного командира капитана де Кокборн, весьма "интересное" приказание. Смотря мне в глаза через пенсне, он сказал:

"Элизэ!.. скажите /это по горам-то/ и передайте ротам, что бы они снялись с позиций, и шли бы сюда в десять раз скорее чем всегда, и соблюдали бы тишину в десять раз больше, чем всегда".

Капитан де Кокборн, как я уже упомянул, был большой французский патриот, спортсмен, умный и воспитанный, как все у них из родовитой дворянской фамилии, почему у него и была приставка "де", но в нем было неприятное, что-то, как бы, иезуитическое и всегдашнее недоброжелание к людям, а в особенности к своим подчиненным, будь то legionер, или, даже, офицер. К тому же он был карьерист, но в хорошем и заслуженном понимании этого слова.

"Если я не буду в 40 лет генералом - то тогда не стоит и служить", как то он сказал мне. Ему же тогда было чуть свыше 35-ти лет.

Во Французской армии, в особенности в Легионе, вне строя, не только что подчиненные офицеры, но и рядовые солдаты - свободно могут разговаривать и выражать свое мнение, даже, и генералу. Пользуясь этим, я отвечаю капитану, в тон и смысл его приказания, так:

"Мой конь может развить, от голода и усталости, только аллюр рысь... и legionеры будут так же идти и так же громко разговаривать - как всегда".

Сказал, сел в седло и тронулся рысью на под, ем, но Кокборн, тут же дал сигнал на рожке горниста, и роты, снявшись немедленно, и с удовольствием, со своих позиций - шли к нам с той же скоростью "как всегда", и с такими же шумными разговорами, тоже, "как всегда"....

Все это было так не похоже на настоящую военную обстановку! Дух legionеров был уже сильно подорван непрерывным отступлением без "настоящих" отходных активных боев, чему их учили в мирное время.

Новая наша позиция была на редкость хороша. Она шла по длинному массиву и перегораживала главную дорогу, почти, перпендикулярно. Занята она была при заходе солнца, что давало возможность офицерам и legionерам полностью ориентироваться.

Расположились. Но около 21 часу /9 вечера/, пулеметная рота капитана Гуйома, которая занимала левый фланг позиции - открыла выстрелы, потом снялась с позиции, и густой массой торопящихся людей, прошла мимо штаба батальона, расположенного вверху, и скрылась внизу, во мраке ночи.

"Неужели опять приказано отступить?" - мелькнуло в голове. Но случилось нечто иное... Остальные роты остались на позиции до разсвета.

30-го марта, с самого утра, шла легкая перестрелка с обеих сторон у самого южного склона перевала. Роты, перекатами, медленно отходили вниз, в долину. 7-я рота оставила на дороге одного убитого legionера, а 5-я - тяжело раненого. Это очень скверно подействовало на людей.

"Правда-ли, мон капитэн, что Вы бросили на дороге тяжело раненого legionера?" - мягко, по дружески, спрашиваю капитана Бэсса.

"Да"... отвечает он с полным безразличием, точно дело шло о сломаном и брошенном на дороге колесе от телеги.

"Почему, мон капитэн? - допытываюсь.

"О-о! ильбэтэ трэ люр"/он был очень тяжел/, невозмутимо заявляет он.

"И его трудно было нести" - добавляет, оправдывается...

После такого пояснения, что бы не разстраиваться, я не стал говорить с ним об элементарном воинском законе всех армий и всех времен, что "нельзя бросать раненого товарища и по долгу простой человечности и по долгу взаимной выручки в бою". Тем более, что боевая обстановка не была столь критической. К тому же мы знали, что японцы, обычно, прикалывали штыками раненых и попавшими в плен с обычным для них наслаждением... Естественным последствием подобных случаев будет то, что каждый legionер станет бояться быть брошенным после ранения, а потому у него и не будет необходимости хладнокровия в бою и он будет оглядываться назад - как бы скорее отойти в безопасное место.

Нет ничего более деморализующего психологию воина, как потеря доверия к своим товарищам и начальникам в бою.

Перевал весь отдан японцам. Роты, тонкими лентами, тянулись по долине к следующей цепи гор. Японцы не преследовали. Мы вошли во Французский административный центр село Тран-Джиао. Здесь, в нашем батальоне, произошли следующие перемены: - Капитан Гуйом был отрешен от командования ротой и отправлен в распоряжение генерала Алессандри и его рота тут-же была расформирована. Люди влиты в другие роты. Вчера, Гуйом, без приказа, самовольно снял свою роту с позиции и отошел с нею за 15 километров в тыл и не исполнил приказа командира батальона вернуться снова на позицию. При этом было брошено 2 ручных пулемета и 2 бомбомета.

Второе - я был назначен командиром взвода в 7-ю роту, передав своего конька командиру авиационного взвода капитану Посталь, который использовал его как вьючное животное для перевозки кухонных котлов его взвода, который состоял из офицеров и подпрапорщиков-французов. Я был очень доволен переводом в строй, о чем просил капитана де Кокборна еще несколько дней тому назад.

Теперь в нашем 2-м батальоне три роты, каждая численностью до 70-ти legionеров... Я назначен в 1-й взвод роты, состоящий из 2-х групп при 2-х ручных пулеметах, всего 14 legionеров и 2 сержанта. Один из них чех, Павлик, а второй австриец Дитрих. Командир роты 48-летний капитан Куран, из сержантов, человек не глупый, не злой, но горячий и шумливый. Я был 5-ю годами старше его, но у нас существовали очень хорошие взаимоотношения еще по службе в Тонге, до похода. Он искренне был рад моему назначению к нему.

Для меня открывалась новая боевая страница, где я непосредственно и очень близко соприкоснулся с legionерами роты в боях и вне их, что бы увидеть много любопытных черт, совершенно недопустимых в европейских регулярных армиях, но столь характерных "для наемных", которым являлся по существу Иностранный Legion Французской Армии. Необходимо подчеркнуть, что наш 5-й полк состоял почти исключительно из legionеров старших возрастов, которых переводили сюда, как бы на отдых в спокойной обстановке Индокитае, с совершенно мирным туземным населением. Но.. скорые события в Индокитае показали ошибочность этой оценки со стороны Французского Правительства.

Здесь, 30-летний легионер, с пятигодичным стажем службы, считался "мальчишкой". Средний возраст легионера был выше 40 лет. Много было по 50 и старше. Конечно, люди такого возраста, изношенные физически долгой службой в тропических странах и ненормальной жизнью, как постоянная выпивка и легкодоступность туземных женщин - эти легионеры, по большей части, уже утратили свои физические силы и выносливость, и не отличались большой моральной устойчивостью. С другой стороны, суровость дисциплины при недостаточной заботливости о легионерах со стороны офицерского состава, видящего в них не "живых людей", своих соотечественников, а только "легионера номер такой-то" - все это вместе взятое - не могло заложить в душе легионера никакой преданности, даже верности, той стране, которую он обязан защищать не за страх, а за совесть, как ея сын. Воспитанные и приученные за всю свою долгую службу на методах борьбы с иррегулярными силами возмущавших полудикими африканскими разных племен - теперь они столкнулись с высоко дисциплинированными, глубоко патриотически настроенными войсками Японской армии, даже, фанатично настроенными японцами для расовой борьбы, при лозунге - "Азия для азиатов" - наши легионеры не могли противопоставить японским отрядам надлежающей боевой устойчивости. Такова была действительность... И вот -

К ночи того же дня, наша 7-я рота заняла позицию на восточном склоне хребта. Рота являлась аррьергардной. Я в ней командир 1-го взвода силою в 14 легионеров при двух ручных пулеметах и два сержанта.

Ночь и тишина. Тишина и ночь. Где японцы - нам не известно. Зорко всматриваемся в долину, ожидая приближения японцев, но сверху вниз - ничего не видно. И ничего не слышно. Это еще больше усиливает нервное напряжение людей. Японцы им были страшны.

Около 22-х часов ночи, вся рота, вдруг открыла ураганный огонь в сторону невидимого противника. Вскочив от неожиданности - я резко толкнул своего пулеметчика в спину бамбуковой палкой, приказывая ему прекратить стрельбу "в пустую". Он удивленно смотрит на меня и говорит, что "стреляет вся рота", поэтому стреляет и он, а по ком - он не видит. Потом рота сразу прекратила огонь, быстро снялась с позиции и спешно стала отходить назад по лесной неровности, и без троп, на глазную дорогу.

Так, каждый раз, мы давали знать японцам о производимом нами "предусмотренном отрыве от противника", который, по сути дела, должен делаться совершенно незаметным для него, с целью ввести противника в заблуждение и выиграть время для спокойного отхода на новые позиции. Вместо этого, своим шумом и треском - мы, фактически, предупреждали противника о своем отходе. И по силе нашего огня, он уже издали мог учитывать наши силы и планы.

Отошли от села километра на два и расположились на новых позициях, прямо на дороге. Батальон расположился на ней "уступами", километра на три. Мой взвод был в аррьергарде. И не успели мы остановиться, как моя "головная группа" открыла огонь, потом снялась и стала отходить. Бегу ей навстречу, кричу-командую, останавливаю и возвращаю на старое место. И напрасно сержант, начальник группы, уверял меня, что он "видел" приближение японцев - я отвел группу на старое место и приказал не трогаться до фактического появления японцев. На выстрелы прибежал командир роты капитан Куран. Он одобрил мои действия, а потом спросил - "видел ли я японцев и могли ли они так скоро приблизиться к нам?"

"Я не видел японцев и они не могли так скоро приблизиться к нам", искренне говорю ему, и он, старый солдат, отлично зная своих легионеров - ответил:

"Я тоже, думаю, что их не было"... сказал и засмеялся. А я знал, что если бы не остановил эту свою группу, то - весь батальон, снявшись в полусне, стал бы отходить назад, думая, что японцы "атаковали" нас. Но они не показались и до самого утра. Так было очень часто у нас....

Утром 30 марта, снялись и продолжали отход на юг. Днем, 2 взвода под моей командой, заняли возвышенности у очередного села, а один взвод охранял узкую долину, по которой бежал небольшой ручей. Командир роты находился у села, у дороги. Мы ждали условных 3-х выстрелов из бомбомета, что бы одновременно сняться с позиции к отходу. Бомбомет, на 3-м выстреле, дал осечку. По команде ротного командира - "Реплие!.. Реплие!" /Свернитесь!/, все взводы, не ожидая приказаний своих начальников - открыли частый огонь по невидимому врагу и с криками "Реплие! Реплие!" быстро отошли в село.

Внутренне улыбаясь, я пожал плечами и развел руками, но улыбаться было нечему: при проверке людей, в роте не оказалось сержанта, капрала и одного legionера, находившимся на головном посту.

Рота стояла в густой колонне, в сотне метров от покинутого села, поджидая отходящих legionеров, подвергая себе опасности, если японцы займут село. Позади нас, метрах в ста, стоял командир батальона со штабом. Он дважды уж кричал-командовал нашему ротному "Рекюле! /Отступайте!/, но мы продолжали стоять и ждать неприсоединившихся legionеров. Вдруг от берега ручья, на уровне покинутого села, затрещал японский пулемет и пули его поднимали пыль на дороге, позади штаба батальона. Неожиданность была полная. Огонь японцев отрезал наш путь отступления. По резкой команде батальонного - "В лес!.. в лес!" - рота, всею толпою со штабом батальона стремительно бросилась в лес. Огонь японцев гнал нас "в лес"...

"Галопэ!.. Галопэ!" /скачите, скачите!/- подстегивал legionеров возбужденный голос капитана де Кокборн, находившагося впереди бегущих в порыве животного страха людей.

Расбрасывая руками высокий сухой бурьян и ломая ветки кустов - все быстро пересекли наш лесок и выбежали за выступ пригорка без потерь в людях, но с исцарапанными лицами у многих и в изодранной одежде. Некоторые legionеры потеряли часть своего боевого снаряжения. Все это произошло так внезапно и кончилось так скоро, что теперь нам всем стало стыдно и вместе с тем "весело"... Но мы были уже в безопасности, что и было самое главное и приятное. Здесь сменила нас арьергардная рота капитана Бэссэ. Наша-же 7-я рота двинулась дальше в тыл, к высоким острым шпильям, которыми заканчивалась эта долина. Мы входили в извилистое горное дефиле. Передав командование ротой мне - капитан Куран, верхом двинулся в тыл, приказав искать его "на 15-м километре", где он и встретил нас. При свете бамбуковых факелов жителей, Куран указал мне висячий "обезьяний мостик" через быструю горную речку. С большой задержкою перешли мы "на-четвереньках" этот местный мост и расположились на ночлег в селе. При переправе, несколько legionеров сорвались в реку, что было неприятно для них, т.к. ночь была очень холодная.

После горячего ужина, под начавшийся проливной дождь, я разставил от роты три полевых караула, учитывая наш партизанский образ обороны. Впереди были еще две наших роты, - ночь спали спокойно.

Наступило 1-е апреля. Это был день католической Св. Пасхи, но об этом мы, поглощенные невзгодами нашего отхода, совершенно забыли. Вернее - и не знали. С утра наша рота заняла оборонительную позицию на том месте, где стояли ночью наши полевые караулы. К полудню, нас сменила одна из рот 1-го батальона. Наша рота выдвинулась вперед, на подд ержку нашим двум ротам.

Со своим взводом я явился командиру 6-й роты, к капитану Комарову и получил от него приказание - "Охранять его правый фланг с тыла", т.к. японцы, буд-то бы, прошли вслед за 5-й ротой по ту сторону гребня, находящегося к востоку от нас и

позади расположения его роты! Но не успел я отдать соответствующего распоряжения своему взводу, как подошел мой ротный командир, шумливый капитан Куран, и повышенным голосом приказал мне занять позицию "для охраны левого фланга 6-й роты". Я недоуменно смотрю на капитана Комарова, в чье распоряжение послан, и глазами спрашиваю - "Какое из двух противоположных приказаний я должен исполнить?" Комаров добродушно улыбается и мягко говорит мне по-русски: - "Мне все равно, Елисеев"; и потом, перекинувшись несколькими фразами о положении фронта его роты - он, со своей всегдашней любезной улыбкой добавил: - "Ну, до-свидания... Оставайтесь здесь, а я пойду к своей роте"... Сказал и тихо пошел вперед. С этого момента я его уже не видел в живых...

Разсыпав своих людей в цепь - двинулся вперед, но в кустарниках наткнулся на взвод 6-й роты аджудан-шефа Букалова, который уже охранял левый фланг своей роты. Букалов смеется на всю эту путаницу. Я то-же. Но он скоро был отозван вперед и мой взвод в 14 легионеров, занял его место.

Впереди шла редкая перестрелка. Прошло минут 10, как мы увидели стрелка-аннамита, вестового капитана де Кокборн, проскакавшего на своей белой лошади по дороге в тыл, очевидно, с какой-то тревожной вестью. Мы насторожились. Минуту спустя, следом за ним, промчался во весь опор на быстрой лошади батальонного, какой-то легионер. Мы поняли, что впереди случилось что-то серьезное. И скоро из просеки, по дороге, показалась печальная процессия. Верхом на маленькой местной лошади, сидел кто-то, очевидно, тяжело раненный, склонившись всем своим телом на шею лошади. По обе стороны, его поддерживали два сержанта из штаба батальона, а третий вел лошадь в поводу. Рубашка раненого была закинута на голову и обнажала сухощавую окровавленную спину. Это был капитан Комаров, с которым я разговаривал всего лишь несколько минут тому назад. Его провезли метрах в 50-ти от нас. И не успела эта группа скрыться в новом просеке - как на передовой позиции, среди наступившей тишины - резко раздался условный выстрел бомбомета к отступлению.

"Начался отход!.. Приготовиться!" команду своим людям. Все тихо, но нервно насторожились. Из-за деревьев с кустарниками, откуда только что вывели капитана Комарова - появилась толпа легионеров 6-й роты, торопясь отходить назад. За ней, быстрым шагом, с остальными взводами роты, шел капитан Куран. Поровнявшись со мною, он коротко бросил:

"Элизе!.. оставайтесь в арьергарде!" и никаких других распоряжений. Все это происходило неожиданно и так быстро, словно в кино. Разсыпав свой взвод в кустарниках по обе стороны дороги - я ждал немедленного же появления японцев для преследования нас по очень ровной и прямой дороге, которая тянулась метров на 500 до дефиле. А позади меня, густой колонной, отходили наши роты, являясь прекрасным объектом для обстрела и преследования. И в моем кавалерийском мозгу, мелькнула мысль, что - прийдись сейчас лишь один эскадрон японской кавалерии, и даже меньше - и от нас мало что осталось бы...

К этим отступающим ротам, слева, густою цепью бежал взвод авиаторов и своим поспешным отходом, вносил еще большую тревогу в души моих 14-ти легионеров "арьергарда".

Мой взвод с тревогой ожидал появления врага, но он не показался. С его стороны не было и одного выстрела. И где он был - мы не знали.

Дав отойти колонне за пределы досягаемости ружейного огня - я спокойно снял взвод и стал отходить "цепью", перекатами, от одной группы кустарников, к другой.

У "горла" очень узкого горного дефиле, наш отход замкнул 1-й батальон спокойного и унылого капитана Гоше. Здесь я узнал жуткую для меня весть, что капитан Комаров не ранен, а - убит. Через 10 минут я увидел его бездыханное тело на нашем батальонном санитарном амбулансе. Доктор делал перевязку какому-то легионеру в самом амбулансе. В нем было очень тесно и

тело капитана Комарова было притиснуто к самой стенке, как предмет, который теперь "уж никому ненужен"... Его, так мне знакомые сапоги желтой кожи с выворотными голенищами-ботфортами, над которыми мы посмеивались - беспомощно свисали за дверцы амбуланса, словно подчеркивая печальный конец еще одной человеческой души. Вокруг амбуланса толпились довольно много legionеров его роты. Они его любили. Поодаль, офицеры обсуждали между собою случившееся. Всех охватило какое-то тревожное настроение. Гибель этого видного и всеми уважаемого офицера, такая неожиданная и жестокая, глубоко тронула всех в полну. Он был убит снарядом японского бомбомета, разорвавшегося у его ног и обдавшаго его целою тучею осколков. Умер он тут-же, истекая кровью. Позади него стоявший legionер-ординарец так-же тяжело ранен и умер в ту-же ночь.

Приблизившись - я вскочил на подножку амбуланса и приподняв его руку закрывавшую лицо, словно от грозящего удара, смотрел в него, неживое. Его лицо было совершенно спокойное, будто он спал с чуть прикрытыми глазами. Ни тени предсмертного страдания. Скорее - легкое удивление на лице чему-то неожиданному. Положение его тела, казалось, говорило:- "Ах... оставте меня в покое!... я так устал, устал... и я хочу спать"...

Долго я смотрел на это, так знакомое мне сухое лицо бронзового загара, лицо с тонким прямым профилем... Смотрел для того, что-бы рассказать его жене-француженке. Потом опустил его мертвую руку, троекратно перекрестился и бегом стал догонять свою роту. Командир роты ждал меня и передав командование, верхом двинулся в тыл, приказав искать его "на 26-м километре". Я повел роту. Скоро нагнал нас конный эстафетчик и передал следующее письменное распоряжение-телефонограмму от генерала Алессандри, находившагося на последнем Французском военно-административном пункте перед Китаем, в 5-й военной зоне, в селении Дьен-Бьен-Фу:

"При провозе тела капитана Комарова - всем ротам остановиться и отдать ему последния воинския почести".

Поздно вечером дошли мы до 26-го километра. Это был невысокий перевал. Кругом лес и горы. Справа очень глубокая пропасть с тропическим зарослями, под которыми слышно было как бурлит речка. Были разставлены караулы. Рота ждала горячаго ужина, но его не было. Из глубокаго тыла, из Дьен-Бьен-Фу, на автомобиле прибыл генерал Алессандри. Он долго спрашивал меня все подробности гибели капитана Комарова, котораго он отлично знал, и как офицера своего полка и как выдающагося партнера "в бридж", котораго любил и ценил и смерть котораго его опечалила исключительно глубоко. Потом он роздал моим legionерам американские папиросы из своего кармана, что мне не понравилось, т.к. этим он, явно, популяризировал себя, яко-бы добротою и щедростью. Мы все любили американские - и галеты, и консервы и папиросы. Legionеры с удовольствием брали папиросы из рук главнаго здесь начальника всех Французских войск, потом аккуратно поделили между собою и принесли мне "мой пай".... три папиросы.

Тело капитана Комарова провезли мимо нас ночью, когда рота спала. Кто он? По чувству воинскаго товарищества - я должен сказать о нем.

Он прямой внук генерала Комарова, который в 1885-м году, у крепости Кушка, атаковал афганцев, разбил их и отбросил за речку Кушка. На протест Английскаго Правительства о военных действиях в мирное время, с требованием наказания генерала Комарова - Император Александр 3-й наградил генерала Комарова орденом Победоносца Св.Георгия 4-й степени "За проявленную инициативу по защите чести своего Отечества".

Его этот внук Владимир Комаров, кадетом Морского корпуса 4-го или 5-го класса, попал в Персию с Каспийской флотилией в 1920-м году. Скоро переехал во Францию, окончил там Военное училище, принял гражданство и стал

"Офисье актив", что равносильно русскому - "Надровый офицер", со всеми правами офицера Французской армии. Сержанты, получившие первый офицерский чин за боевые отличия, официально называются "кадр нуар", т.е. "черный кадр" в точном переводе, по нашему - "Зауряд-офицеры", и если они потом не прошли курса Военного училища и хотят остаться на военной службе - их карьера ограничивается чином лейтенанта, т.е. поручика, или сотника по казачьим Войскам, до самой их отставки. Во Французской армии требуется военное образование и только тогда он приравнивается для производства в следующие чины с кадровыми офицерами. И Комаров все это прошел.

Похоронен он в селе Дьен-Бьен-Фу - печальном, ничемном, но знаменитом тем, что в него был спущен десант парашютистов, силою в одну дивизию, против Аннамитских войск вождя их-коммуниста Хо-Ше-Мина, который, после долгого сопротивления - был полностью пленен.

- . - .

Настало утро 2-го апреля. Ночью, поверяя караулы, я унес три карабина, небрежно брошенными спящими легионерами. Утром они пришли за ними. Я не буду описывать, как я их "разнес". Потом я убедился, что японские солдаты, всегда спят в походе с винтовками, зажатых между ног и в объём руками. Конечно, при таком психологическом состоянии, бороться против японской армии, было больше чем трудно.

Рота передвинулась на 29-й километр и заняла там позицию. Позиция в горах, в тропических джунглях, при наличии единственной дороги по лесу - совершенно не походила на позиции, о которых пишется в уставах. Мы располагались "уступами" по дороге, и основную боевую группу, составлял лишь один ручной пулемет со своей прислугой. При таком положении, надо иметь очень большую устойчивость в сердцах, что бы удерживать ее. К тому же, непосредственной помощи от других, ждать не приходилось. Дорога в лесных зарослях шла зигзагами, а потому противник мог подойти к ней незамеченным. Надо было быть всегда на-чеху, а это очень нервировало людей, деморализованных постоянным отступлением.

Меня, как старшего в роте офицера, ротный все время назначал с моим взводом в 14 легионеров, в арьергард. Так было и сегодня, в роковое 2-го апреля.

Заняв позицию, я пропустил мимо себя наш 1-й батальон и наших "авиаторов" - ненужный военный груз отряда. Проходившие офицеры предупреждали, что японцы идут за ними по-пяткам. Прошли они и наступила жуткая тишина. Такая, от которой несет дыханием смерти.

Японцы появились очень скоро в этой зловещей тишине. Мой головная группа с одним пулеметом, открыла по ним огонь и, снявшись, отошла ко 2-й группе. Потом открыла огонь 2-я группа. Затем вся рота снялась и стала отходить. Через 2 километра рота перешла вброд два широких ручья. Сбросил обувь для дальнейшего похода, еще более трудного в далекий "наш Китай" - я, переходя реки, всегда снимал ботинки и одевал их на другом берегу, почему несколько отставал от роты.

На 33-м километре, мы снова оказались на перевале. Мой взвод остановился, идя головным, перед самым перевалом. Позади меня была еще наша рота и должна была отходить под моим прикрытием. На том же перевале, расбросано, по разным укрытиям, остановились остальные две роты нашего батальона.

Было около 19-ти часов /7 вечера/. Вечер был серый, тусклый. Кругом царил тишина. Мы, как всегда, пассивны. Ждали приближения японцев, зная, что после короткой перестрелки, мы немедленно же отойдем назад. К тому же, генералом Алессандри, дано было общее распоряжение: - "При появлении противника, не ввязываясь в жаркий бой - отходить".

Все знали, что - "Мы идем в Китай", поэтому, такое распоряжение считали нормальным. Оно радовало всех. Мы были очень утомлены, плохо питались, были без табака, в истрепанном обмундировании и в разбитой обуви, издер-

ганные морально и отсюда - потерявшие боевую устойчивость. Общая деморализация проникла глубоко в души людей. Смерть страшна для всех, а тем более, когда всякого угнетало сознание, что, даже, раненый - он рискует быть брошенным на дороге и его потом японцы докончат штыками...

"В Китай!... В Китай!... Скорее бы в Китай!" - на этом сосредоточилась мысль многих. Хотя об этой цели нашего отступления было обьявлено еще 11-го марта, после печального перехода через Черную реку - теперь этот уход в Китай, с каждым днем становился необходимым, вызывающий жгучее нетерпение.

Так вот, в таком настроении, вечером 2-го апреля, мы ждали появления японцев.

Моя "1-я группа" взвода в семь legionеров, под командой сержанта Дитриха - заняла позицию по дороге перед самым перевалом. 2-я группа сержанта Павлик, разсыпалась по дороге, свернувшейся вправо, в сторону японцев. Горный выступ разделял эти обе мои боевые группы legionеров и прерывал зрительную связь между ними. Два взвода нашей роты, под командой капитана Куран, должны отойти за мой взвод, где занимали позиции на самом перевале 5 и 6-я роты с командиром батальона.

По положению, я должен был находиться при 1-й группе, перед перевалом и оттуда руководить своим малым взводом стрелков с двумя ручными пулеметами. К этой 1-й группе, должна отходит и "вторая" в случае нажима противника и там уж, сосредоточенным взводом, вести огонь. Но мне не хотелось, что бы legionеры подумали, что "я избрал место более безопасное", потому и остался с головной своей группой, что ближе к японцам. Это меня и погубило.

Скорого появления японцев мы не ждали. Заняв позиции, вблизи которых, на возвышенности, расположился в кустах наш ротный бомбомет - legionеры, по обыкновению, перекидывались между собою незначущими и надоедливymi фразами, шутили, курили у кого был табак, а некоторые ели свой сухой ужин.

Мне так хотелось есть... Утром, мой сержант-чех Павлик, добрый и вежливый, угостил меня вкусными американскими мясными консервами. Сейчас же был вечер, и я с тех пор ничего не ел. Мне было неловко просить у подчиненных "поделиться их скудным рационом", поэтому, чтобы "занять свой желудок" - я стал внимательно рассматривать оставленный нами предыдущий перевальчик по зигзагообразной дороге, откуда должны появиться японцы.

Они там и появились... и очень скоро. И об этом мы узнали лишь тогда, когда по нас "заговорил" их пулемет, да с такою точностью прицела и силой огня, что мы больше удивились, чем испугались. Пули первой очереди пулемета застали меня стоящим на дороге и застрекотали на такой высоте, что я ждал, что - вот-вот, одна из них, ударит меня в живот, именно в живот, а не в другую часть тела. Обе мои группы немедленно же открыли огонь в сторону невидимого им японского пулемета, до которого было 500-600 метров по прямой линии. Нас же разделяла глубокая непроходимая пропасть, вся заросшая тропической растительностью. По дороге же, с ее извилинами, было километра полтора. Тут впервые я увидел светящиеся пули. Они с молниеносной быстротой пронизывали пространство тончайшей искрой и ударялись в высокую обочину дороги позади меня.

"Не галлюциция-ли это?" - мелькнуло в голове, но когда одна из пуль пронизала сухой листок кустарника впереди меня и он загорелся - мои сомнения исчезли.

"Огонь!" - крикнул я бомбометчику, что позади меня. Бомбометчик француз-легионер, на удивление чисто одетый, в шарфе вокруг шеи, вдруг флегматично отвечает мне сверху:

"Мон льеутенант... с-э тре люэн /это очень далеко/. Мой бомбомет не

донесет туда снаряда!"... Ответил, и неторопливо вскинул "свое орудие" на плечо и скрылся вниз.

Я хорошо вижу место, откуда исходит огонь противника, но не вижу самого противника. В это время, командир роты проходит быстро мимо нас по водосточной канавке, а за ним, низко пригибаясь, следуют два взвода "гуськом"

"Элизе!... Прикрывайте нас.. а потом сворачивайтесь и уходите сами! бросает он коротко на-ходу.

Пропустив роту через первал и выждав несколько минут - под сильным огнем я снял свою вторую группу и двинулся назад. Я полагал, как и приказал, что моя "первая группа", будет ожидать отхода моей второй группы и прикроет наш отход. Но когда мы дошли до ее позиции - ее там не оказалось. Сержант Дитрих снялся самостоятельно и отошел вместе с ротой. Это меня удивило и обезкуражило. Мы, девять человек теперь оказались единственным аррьергардом всего батальона. Но возмущаться было и некогда, и поздно. Меня же ждало нечто, еще худшее.

5 и 6-я роты, с командиром батальона во главе, расположенные на самом первальчике, сзади меня, почувствовав на себе рекошетный огонь - покинули свои позиции и бросились вниз по дороге.

При виде всего этого - меня охватило предчувствие непоправимой катастрофы. Не останавливаясь - мы двинулись вниз, за уступ изгиба перевальчика и скрылись от глаз японцев. Все роты были уже на втором изгибе, и весь батальон, очень скорым нервным шагом, в достаточном беспорядке, уходил.... Мы оставались в безсменном аррьергарде, девять человек: семь легионеров, сержант Павлик и я. И когда я со своими легионерами повернул за "спасительный" выступ - голова колонны была уже за вторым выступом, а хвост ее был от нас метрах в 200-х и тоже ускользал за выступ.

Группа шла скорым шагом вниз, стараясь нагнать свой батальон. Вдруг со стороны японцев раздался отдаленный оружейный выстрел и, недалеко впереди нас, на самой дороге, разорвался снаряд. Мои легионеры бросились на землю, уткнулись вниз лицами и оставались лежать неподвижно.

"Ан аван, ан аван!" /Вперед, вперед!/ кричу им, командуя. Они боязливо вскакивают на ноги, быстро идут вперед, но при звуке нового выстрела, не дожидаясь разрыва снаряда, снова кидаются на землю и замирают. Снаряд разрывается рядом с первым. Мы попадаем в сферу японского перекидного огня и нам надо как можно скорее из него выйти. Я тороплю легионеров, но японские снаряды теперь падают с методической точностью через каждые 8-10 секунд, увеличивая дистанцию на 10-15 метров, и мне очень трудно поднять людей и заставить их двигаться вперед. Они, словно, предпочитают залечь здесь "навсегда" под японским обстрелом, чем прорываться через огненную завесу.

В предвечерней мгле, разрывы снарядов, кроме очень сильного звукового эффекта - производили большое впечатление своим ярким пламенем. Люди были деморализованы еще и тем, что мы, не имея артиллерии, оказывались совершенно бессильны против этого обстрела.

По своему боевому опыту я знаю, что разорвавшийся снаряд уже так же не опасен, как и пуля, свист которой ты слышал, а потому сам не ищу укрытия, а стараюсь подогнать людей скорее идти вперед. Я учитывал - т.к. мы уже скрылись из поля зрения японцев, и на их огонь не отвечаем - то они, безусловно, возобновили наступление-преследование нас и могут с минуты на минуту появиться на нашем перевальчике и тогда нам уж не удастся уйти от них благополучно. Но легионеры, при каждом новом выстреле - падали на землю и лежали как неподвижные бревна. Бамбуковой палкой толкаю задних из них в плечи, в спины и ниже поясницы и строго приказываю подниматься и бежать. Но все это помогает очень мало. Мы продвигаемся короткими

перебежками между двумя орудийными разрывами. Из нас никто еще не ранен.

Я продолжаю оставаться на ногах, считая недостойным следовать примеру своих подчиненных. Вдруг снаряд разорвался сзади и левее меня. Что то очень больно ударило в спину, выше пояса, и остро обожгло по всей спине мелкими уколами. Я не упал. Неужели ранен?... контужен? - пронеслась мысль. Легионеры вскакивают и бегут дальше вперед. Новый слышим выстрел. И я, заглушая совесть и честь офицера - тоже падаю на землю вместе с легионерами, втыкаясь лицом в землю и лежу неподвижно, пока затихнет шум от разорвавшегося снаряда.... Мне стыдно, но я прячу свое офицерское самолюбие и гордость, т.к. меня охватывает страх быть раненым и брошенным здесь на дороге. И страх не напрасный, потому что я шел "последним" и у меня не было никакой надежды, что мои легионеры вынесут под таким огнем своего раненого начальника. Да и куда нести?!....

К счастью - мы добрались, наконец, до изгиба дороги влево, который укрыл нас от японского огня. Да и огонь этот сразу прекратился.

"Японцы меняют позицию... надо спешить уходить!" подсказывает внутреннее чутье.

Хвост батальона идет уже по новому изгибу дороги. Нас разделяет непроходимая пропасть, заросшая бамбуками. Ускоренным шагом огибаем ее и поднимаемся по новому зигзагу дороги, идущему чуть-чуть вверх. Мы уже не держим ни строя, ни дистанции и шагаем вразброд, торопясь только вперед. Я держусь в середине своих людей. Вдруг вижу впереди легионера странно разставившего в стороны руки, с карабином в левой руке, тихо бредущаго неуверенным шагом. Его вещевой мешок как то небрежно опустился ниже пояса и смешно болтается на завязанной у шеи веревке, явно затрудняя его движение.

"Неужели пьяный?... Да еще в бок?" недоумеваю я злобно. А среди легионеров это могло быть. У них все может быть!....

Порывавшись с ним - строго заглядываю в лицо. Он медленно поворачивает ко мне голову и слабым, страдальческим голосом, произносит:

"Мон лейтенант... же блесэ..." /Господин лейтенант... я ранен/. И я узнаю в нем своего капрал-шефа Колерского /поляк/, который только вчера получил за боевые отличия золотой галун к своему нитяному, к зеленому и стал "капрал-шеф", будучи только капралом. И вчера, на 26-м километре, я, сержант Павлик, и он поляк - втроем спали у обочины дороги, тесно прижавшись друг к другу от ночного холода. Вчера я жал ему руку, поздравлял с повышением, а он очень скромно и благодарно мне улыбался.

Во Французской армии, даже высший генерал жмет руку рядовым солдатам, поздравляя их с повышением по службе, что я считаю очень похвальным и правильным явлением.

Потом мы втроем, прижавшись друг к другу от холода - тихо пели наш Славянский Гимн - "ГЕЙ СЛАВЯНЕ..." и он пел его с душой первым голосом и умеючи, чем особенно подкупил меня. И вот сегодня, он ранен и безпомощен. Из шеи у него, тонкой струей, бьет кровь. Левая калоша бряк в сильной крови. Куда он ранен - неизвестно, но он обезсилен и едва идет.

"Начни только помогать - и его не спасешь и сам не уйдешь!" - остро пробежала мысль.

"Брось!... Уходи скорее сам!... Спасайся САМ!" настойчиво подсказывал инстинкт самосохранения - подло, не честно... Но дух воинской чести и товарищества, моральная ответственность офицера - преодолели эту подлую эгоистическую мысль.

"Сам погибай, а товарища выручай!" - золотыми буквами диктовал Воинский устав Русской Императорской Армии, который, еще с юнкерской скамьи, и "навечно" - залег в мою душу, этот моральный закон для каждого война.

Уже не разсуждая - я подскочил к нему, подхватил слева под мышку, взял,

схватил его карабин из левой руки и приказал накому-то legionеру подхватить его справа.

Раненый радостно простонал, и мы втроем, ни на минуту не останавливаясь, продолжали идти дальше.

Ранцевый мешок у него за спиной, свесившийся ниже поясицы - изнурял раненого и мешал движению.

"Купэ ле корд!" /режь веревку/ резко командовал я нагонявшему нас legionеру.

"Иль нэ ра дэ куту!" /нет ножа/ вдруг отвечает он немощно.

"Пар баянет!" /штыком/ зло дал команду ему коротко. И legionер, обнажив штык - перерезал веревку, и ранец упал на землю, как уже ненужная раненому "подруга вечная". Облегченный раненый, с каким то детским доверием, отдался ритму нашего движения, лишь перебирая ногами.

Во Французской и в Японской армиях, штыки имеют форму большого ножа - у французов четверти две длиной, а у японцев четверти три.

Нас начинает осыпать японский пулемет. Мы стараемся идти как можно скорее, но наш раненый, явно, ослабевает. Чувствую, что слабею и я. Мне так не удобно идти "не в ногу" с раненым! И мне так неудобно нести его карабин и свою бамбуковую палку в одной и той же руке! Мне хочется бросить его карабин в кусты. Он, теперь, ни ему ни мне, ведь, не нужен! Но разве можно бросать оружие, да еще в бою?! - проносится мысль с упреком.

Какой то legionер обгоняет меня слева и сам берет его у меня, и я почувствовал моральное облегчение, так как я избавлен от опасного соблазна - "бросить оружие в бою". Но наш раненый окончательно выбился из сил. Мы тоже. В полном физическом изнеможении - мы останавливаемся. Я приказываю двум legionерам, обгонявших нас, на вид крупных и сильных - сменить нас. Они подхватили Колерского как и мы, и двинулись позади нас. Но не прошли мы и нескольких десятков шагов, как я услышал позади жалобный стон. Оглянувшись - вижу - раненый брошен, лежит на дороге, на спине, головой к противнику и в полной своей беспомощности. До него было шагов 50. Как ужаленный бросаюсь назад и кричу-командую:

"Взять его!... Взять!... Почему Вы бросили?"

"Иль я тре люр!" /он очень тяжелый/, слышу в ответ усталые голоса и вижу, что legionеры совершенно не собираются вернуться назад за раненым товарищем, к тому же, приблизиться к японцам и, явно, потерять так драгоценные минуты для своего личного спасения.

"За мною!... вчетвером!... сержант Павлик - ко мне!" - бешенно кричу я и, увлекая их за собою - подбегаю к раненому.

Мы берем его за руки и ноги как лягушенку и быстро движемся вперед с беспомощной, точно из резины, ношой.

Левая штанина его полностью пропитана кровью и стала черная и липнет к моим рукам. Его левая нога скользит из моих рук и это мешает мне идти. Японский же пулемет уже взял на мушку нас всех пятерых, но стрельба сверху вниз - не даст точного прицела: пули летят над нашими головами. Мы спешим вперед изо всех сил к следующему зигзагу, что на маленьком пригорке, но чувствую, что выдыхаемся....

"Не унесем!"... настойчиво стучит мысль. Хвост батальона уже заворачивает за новый поворот дороги и о нас, словно, забыли все... Мысли в смертельной тревоге путаются. Неминуемая моральная катастрофа, что "мы бросим раненого" - бьет меня в самую душу. Но вот я вижу приотставшего legionера с лошадью, от хвоста батальона.

ле
"Ле шваль пур блесэ!... ле шваль!" /лошадь для раненого/ - кричу я изо всех сил.

ле
"Ле шваль пур блесэ!... Ле шваль!" вторят мои legionеры. И legionер с конем в поводу останавливается, увидев нашу ношу.

Напрягая последние силы, мы подходим к нему и под пулеметным огнем, пытаемся посадить раненого на высокое вьючное седло. Под огнем, лошадь нервничает и не стоит на месте. А у нас, даже вчетвером, не хватает сил поднять его настолько, что бы усадить в седло. Кто-то помог нам. Два моих legionера, хватают раненого за каждое колено ног. по сторонам лошади, что бы он не свалился, а сам раненый, судорожно и жадно, уцепился обоими руками за передний край седла. Рысцой, вся эта группа, трогается вперед-вниз и скрывается за поворотом.

Бедняга молодецкий капрал-шеф Колерский!.. Мне уж не пришлось больше его видеть в живых. Еще пять километров ему пришлось так трястись в седле "без стремян" и без перевязки до батальонного амбуланса, и там, ночью, он умер от потери крови. Но об этом я узнал только пять месяцев спустя...

Освободившись от тяжелой ноши - я еще больше почувствовал себя утомленным, вернее - окончательно изнуренным физически. Онемели руки. Пересохло в горле. Ослабели ноги. Некоторое время иду тихо, что бы дать отдых мускулам. Я весь мокрый от пота и от воды, при переходе ручьев вброд. Рубашка прилипла к спине и я ощущаю под нею присутствие какой-то неприятной слизи и раздражающую боль. Но острое нервное напряжение, как-то, заглушает все эти физические страдания. Я, тоже, уже миновал один из зигзагов дороги и считаю себя укрытым от огня противника. Я иду последним. Не спеша, сворачиваю на новый зигзаг Дороги направо, за очередную пропасть, как в это время по нас "заговорил" японский пулемет, откуда-то, совсем близко. Японцы, очевидно, успели занять новую позицию на нашем последнем перевальчике. Мы быстро пробегаем обращенный к противнику открытый изгиб дороги и скрываемся за "спасательным" поворотом. Тут я попадаю в "разбухший хвост" батальона, который остановился. Офицеры командуют: "В колонну по-два!.. В колонну по-два!" - но никто ее не исполняет: - все спешат вперед, с единственной мыслью, как можно скорее уйти подальше от противника и укрыться поскорее от его преследующаго, на каждом повороте дороги, огня.

Командир батальона капитан де Кокборн, стоя посреди дороги и разставив широко руки, словно ими желая физически задержать legionеров - громко кричит-командует:

"5 и 6-я роты - СТОЙ! СТОЙ!"

Ему вторят остальные офицеры. Это была последняя попытка остановить и привести в порядок людей. Группа последних legionеров человек в 40-50 - останавливаются. И я в последний раз вижу некоторых офицеров и сержантов своего батальона. Мне резко запомнилось "разное" выражение их лиц, и необычайное для них в мирной обстановке, определенно болезненное, с оглядкой в сторону противника. Это нельзя было назвать выражением трусости - нет! Это была тревожная досада на свою беспомощность и сознание полной бесполезности команды **о с т а н о в и т ь с я**!

Я встретился со взглядом своего сержанта-австрийца Дитрих. Небольшого роста, умный и решительный - его взгляд говорил мне "извинительно" за то, что он оставил свою позицию на первом перевале и ушел со своей группой назад, без моего приказа. И его, сейчас, растерянный вид, говорил, как бы: - "Мой лейтенант, извините за то, но, все равно, мы не удержимся".

Отличный фельдфебель нашей роты, теперь он при штабе батальона, молодой и изящный адъютант-австриец, почти интеллигентный человек - он стоял в стороне и "косо" поглядывал в сторону японцев.

Выдающийся, и самый старший в батальоне, адъютант-шеф Букалов, высокий брюнет в 50 лет с мужественным лицом, наш русак Воронежской губернии, которого в трусости никто не мог заподозрить - он стоял в гуще legionеров и был совершенно безвольным....

Мой командир роты шумливый капитан Куран, старый солдат-воин из унтер-офицеров, но с законченным образованием военного училища, прибывший к нам после неудачной операции в порту Нарвик /Норвегия/, и уже имевший Орден

ЛЕГИОН Д, ОНОР /Орден Почетного Легиона/, жалуемый за особня боевныя заслуги - напрасно останавливал он легионеров! Эта "остановка" продолжалась всего лишь несколько секунд. А потом, эта группа пожилых уже солдат, и отличных солдат, подталкиваемая животным страхом и сознанием своей беспомощности - она прорвала заграждение в лице своего батальонного командира, безусловно, смелого и отличного офицера - и еще быстрее устремилась вниз, под гору, переходя с шага, на бег.... За ними, тем-же аллюрами, кинулись и офицеры. Больше я их не видел в своей жизни....

Сильно уставший после истории с раненым капрал-шефом Колерским - я снова быстро отстал от них и с небольшой кучкой легионеров своего взвода, плелся сзади, точно "прикрывая" общее поспешное отступление.

По дороге стали попадаться брошенные легионерами предметы снаряжения. И брошенные не случайно, а для облегчения. Вот валяется окровавленный тропический шлем-каска, походные сумки и др. вещи. По дороге много крови.

Это зрелище скверно подействовало на меня, как признак того, что чувство животного страха слишком далеко зашло в душу людей и теперь их ничем нельзя будет остановить.

Наша зигзагообразная дорога тянется вниз так далеко, что в предвечернем мареве, я не вижу ее конца. А японцы бьют нас из пулеметов уже справа.

Измученный морально и физически - я добрался до какой-то впадины влево, где мы были совершенно укрыты от огня противника. "Наконец-то спасен!" - проносится мысль, но метров через 50, дорога круто поворачивается назад, прямо на восток, и мы грудью бежим прямо навстречу огню японцев. Ничего не соображая - бегу и я вслед за другими.

Это было "самое дно" той громадной и глубокой котловины, по которой растянулась эта, причудливо-извивающаяся по склонам, дорога между двумя перевалами, растянувшись ровно на три километра, считая их по верстовым столбам. Достигнув "дна" - она круто сворачивает назад на 300 градусов для того, что бы метром через 50 - круто повернуть на север. Здесь мы попадаем в совершенно открытую безлесую полосу и без всякого укрытия в сторону противника. Главная, недавно построенная дорога, изгибом наружу - снова сворачивает на восток, в сторону японцев, а чуть выше, и западнее, левее ее - проходит старая дорога, уводящая от них. Шедшие впереди легионеры инстинктивно вскакивают на нее, что бы хоть на несколько метров быть подалее от врага. Это смешно, но я следую за ними. Впереди, в глубокой впадине с крутыми берегами, протекает ручей, через который перекинуты два деревянных примитивных моста, совершенно разрушенных. Дальше повышался крутой безлесый глинистый под, ем, по которому устало поднимаются, и растянувшись, остатки нашего батальона. Под, ем этот заканчивается лесистым перевальчиком.

"Еще пять минут и мы будем за перевалом. Там огонь японцев нас уже не достанет" - проносится радостная мысль, и я подошел к бывшему маленькому мосту.

Во все время похода наблюдалась, совершенно непонятное с военной точки зрения, явление, а именно: - все мосты взрывались не последним, арьергардным батальоном, или ротой, а почему-то предпоследним и, даже, накануне. И прикрывающей части всегда приходилось переходить речки вброд, или карабкаться по труднопроходимым остаткам разрушенных мостов.

В этот день злой рок преследовал меня с самого утра. И этот день остался в моей памяти как самый опасный и самый жуткий день во всей моей жизни. И развязка трагедии этого дня наступила именно здесь, у моста, разрушенного нашим-же 1-м батальоном Легиона, и в то время, когда еще собрат, 2-й батальон, оставался еще в арьергарде, да еще в таких исключительно трудных условиях...

Длина моста была около 10-ти метров. От него осталось только две пере-

ходных перекаладины. Они были не устойчивы и скользкие от воды и грязи после перехода по ним многих людей. За мною следовало человек пять легионеров. По русской, а может быть чисто казачьей, логике военного воспитания, и что бы не спасаться "первым" - я остановился и сказал легионерам, чтобы они переходили бы "первыми". По-одному, гуськом, они вступили на бревна и осторожно передвигались по ним, скользя подошвами и балансируя руками и корпусом своего тела. Я следовал их примеру и был уже на середине моста, когда внезапно, справа, затрещал японский пулемет и пули низко засвистали над нашими головами. Шедшие впереди легионеры бросились плашмя на перекаладины, а я, от неожиданности толчка дрогнувших бревен - потерял равновесие и сорвался вниз, с высоты четырех метров, прямо в ручей. Упал удачно, на ноги, и в воду, а не на камни горной реки. Там застряла, лежа, с выюками боевых патронов, темно-серая лошадь, которую, барахтавшийся в воде легионер, старался поднять и вытащить на берег. Я упал возле него, ударив его в спину.

"О, мерд аллер!" /О, чорт возьми!/, сочно выругался он ничего не значущей и общепринятой французской руганью. Но мне было не до его ругани. Я, даже, весело улыбнулся ему в ответ.

Я тогда не знал, и не подумал, что это была моя последняя улыбка не только что в этот день, а "последняя" на много-много дней вперед... даже на несколько недель.

Легионер, со своей лежащей лошадью, совершенно загораживал выход на узкую, поднимающуюся на крутой берег, тропу.

"Ничего... найду следующую!" - быстро решаю и спешно тронулся вверх по течению ручья.

Воды в нем по-колени, но дно усеяно большими камнями и идти было очень трудно. Все свое внимание я сосредоточил на поиски следующей тропы к северу, но этот северный берег, мой путь к легионерам, начинает все сильнее повышаться, а густые заросли так нависли над водой, что за ними ничего не видно. Спотыкаясь и хлюпая по воде, я тороплюсь вперед, все вперед. Я весь мокрый от ног и до головы: от пояса и ниже - после перехода с ротой 2-х бродов, а выше - от пота, вызванного возней с раненым и быстрым отходом вслед за своим батальоном на протяжении трех с лишним километров. От усталости у меня приостанавливается дыхание...

Прохожу метров 25, 40, 50... Меня охватывает ужас: - берег поднялся настолько высоко и круто со своими тропическими зарослями, что о продолжении его нечего и думать.... Я чувствую, что "вязну в одиночестве", и уже потерял слуховую связь со своими легионерами. Шаги их мне не слышны...

Вижу громадное дерево, упавшее от бури, верхушкой в ручей. Толстые корни его видны наверху берега. Дотних метров 15, а толщина дерева в два охвата.

В поисках спасения - карабкаюсь по нему на живот, по лягушачьи. Крутизна падения дерева градусов на 45. Мне в мокрой одежде очень скользко. В руках и в ногах полная слабость. Какая-то неуверенность в движениях их, в работе их. В одной руке у меня бамбуковая палка, на мне две полевых сумки и револьвер - все это сильно мешает. Прополз метра три-четыре, обезсилил окончательно и, неожиданно скользнув всем своим телом и не имея за что удержаться, полетел обратно в воду...

"Неужели не уйду!" - охватывает меня ужас.

"Легионер!... Легионер!" - кричу всей силой своего голоса вверх, призывая на помощь, но мертвая тишина покрыла мои призывные крики. И я не услышал, а почувствовал всем своим существом, как по мне отдаются "последние шаги" уходящих где-то вправо от меня людей и.... затихли вдали.

"Погиб, погиб!" - остро режет сознание мысль. "И погибну один в этих

зарослях!...и об этом никто и никогда не узнает!... неужели ни жена, ни сын, никогда больше меня не увидят?!".

И странно! Почему-то думая о семье, я думал не о том, что Я их больше не увижу, а именно, что ОНИ меня не увидят!... Отчаяние перед предстоящей жуткой гибелью леденило душу. Я чувствовал себя подвешенным над "бездной смерти", и подвешенным "вниз головой", т.е. - в состоянии полной беспомощности и безсилия изменить ход событий, выходом из которого были только плен, или... смерть. Но все мое существо протестовало против этого. Надо идти вверх по ручью и идти как можно скорее. Назад, к мосту - нельзя. Там, наверное, уже японцы. Гденибудь-же окажется "выход" из этого предательского ручья! а оттуда надо спешить на запад, все на запад, в направлении нашего общего отступления..

Эти соображения сразу-же отрезвили меня, и я двинулся вперед, подталкиваемый инстинктом самосохранения, напрягая последние силы, поминутно спотыкаясь о камни, шатаюсь как пьяный и широко расбрызгивая коленями воду.

А северный берег все повышается и повышается и становится совершенно недоступен, даже, и для дикаго зверя. Потом ручей вдруг сворачивает влево от меня своим высоким, правым по течению, берегом, а его левый, северный берег - переходит в довольно отлогий скат. Раздвигая заросли - хочу ступить на сухой берег и... проваливаюсь по-колени в толщу веками накопившихся сухих прелых листьев.

Наконец-то я выбрался из воды. Беру направление на вершину горки, что передо мною. Утомление мое дошло до последних пределов. Я не чувствую под собою ног, точно они ступают в мягкое тесто. Шатаюсь, проваливаясь в заросли и ямы с сухими листьями, цепляясь за ветки - я иду к вершине, в надежде оттуда ориентироваться: - куда идти дальше? Почти на самом краю наткнувшись на хорошую тропу, радостно беру по ней влево, на запад. На самой вершине тропа раздваивается. Выбираю правую, рассчитывая по ней скорее достигнуть главной дороги, но через метров 50, она терется в валежнике срубленного дерева. Испуганный неудачей, преодолевая утомление - быстро поворачиваю назад, что бы поскорее, до темноты, попасть на левую тропу.

Добравшись "до узла" троп и свернул на нужную мне дорожку - как в метрах 25-30 позади меня - раздался оглушительный, по своей неожиданности, ружейный выстрел и пуля, сбивая ветки, проносится у меня над самой головой. Смертельный страх охватил меня перед встречей "в одиночку" с невидимым мною драгоном.

Подхватив левой рукой свою тяжелую полковую сумку, а правой другую и револьвер, и не помня себя, широкими прыжками бросился вперед по тропе на запад, ведущей под-гору. В горле я почувствовал какую-то терпкую сухость; в груди что-то остановилось; а сердце, казалось, вот сейчас перестанет биться. Ноги сгибались под тяжестью тела и достаточно мне было спотыкнуться - что-бы кубарем полететь на землю. К тому-ж, я ждал второго выстрела в спину. Лес здесь поредел и я должен был быть ясно виден японцу.

Так пробежал я метров 75 и совершенно потерял дыхание - перешел на шаг как-то бессознательно свернул с тропы вправо и повалился на землю. Сейчас мне все стало безразлично. Пускай приходит японец и выстрелом в упор, в голову, или штыком в живот - пусть "покончить" со мною, но дальше двигаться я не в состоянии. Я размышлял об этом с холодной логикой, без всякого страха, лежа в траве у самой тропы, неспособный ни к какому физическому сопротивлению. Солнце уже скрылось за горами, хотя днем его не было. Было между 20-21 часу вечера. В лесу было мрачно. Наступала темнота ночи.

Проходит 5, 10, 15 минут, показавшиеся мне вечностью, а враг не появляется. Лежа неподвижно - я немного отдохнул, отдышался. Мозг работает лучше и подсказывает мне, что "драгон", наверное, и не покажется. Уже поздно. И стрелявший в меня японец, потерял меня из виду. И это был, видимо, только японский дозорный солдат, выскочивший вперед по тропе, к вершинке бугра.

Но что мне теперь делать? Куда идти? Идти без тропы, без карты и комп-

паса, в ночной темноте, в джунглях... Но все равно - надо переждать. Еще не совсем стемнело и японец, может быть, сидит на горке и, на расстоянии ста метров, меня увидит, если я снсва выйду на тропу.

Выжидаю еще несколько минут, потом встаю и, осторожно ступая, что бы не произвести шума хрустом сухих веток на земле - отхожу вправо и прячусь за большим высоким бамбуковым кустом. Решаю: - с наступлением полной темноты, двинуться дальше на запад, ориентируясь по звездам. Обдумываю детали своего плана, но ход моих мыслей вдруг прерывает далекое цокотание пулеметного огня. Определяю, что до него не менее трех километров по воздушной линии. Значит, наши успели отойти так далеко? Но меня радует, что я теперь знаю направление, где их можно искать.

Точно желал убить и эту надежду - в том же направлении, и так же далеко, "заговорил" японский пулемет со своим характерным частым цокотанием, так отличным от нашего, бьющего много реже.

Так, значит, японцы опередили меня! Значит, я уже совершенно отрезан от своих?

Острое отчаяние схватило душу. Голову сжали какие-то невидимые тиски, а в области сердца, я почувствовал какой-то жар, словно оно, как говорят - "облилось кровью".

"Прощайте товарищи!... Прощайте! Я больше Вас никогда уж не увижу!... Не сегодня, так завтра, я буду убит, или взят в плен"... и беспорядочные мысли закружились в нестройном хороводе. На меня напал панический страх. Во мне все горело и кипело. Мне хотелось пить. Метрах в 20-ти протекал родник, но у меня не было смелости выйти из своего укрытия. Воля была парализована. Я ждал фатальной развязки с несвойственной мне покорностью. Было лишь острое ощущение какой-то обиды за свою судьбу: - погибнуть так бессмысленно, в одиночку, в такой дикой обстановке, и никто не узнает об этом, никто не найдет моих останков... Стоило ли ради такого конца скитаться 25 лет вне Родины, терпеть безчисленные лишения и унижения, дожить до 52-х лет от роду?!....

И снова порыв к активности, желание действовать! Но я сознавал, что разбитый усталостью, сейчас, я никуда не поху. Идти вперед не зная и не видя в темноте тропы - было бы безумием. Решаю: - надо провести здесь ночь, а завтра утром продолжать свой путь.

Стало совершенно темно. Я залез в середину куста бамбука. Мелькнула мысль, что ночью на меня может напасть какой-нибудь дикий зверь, не менее опасный, чем японцы.

Снимаю полевую сумку. Снимаю револьвер и, для лучшей самообороны, вынимаю его из кобуры. Все кладу возле себя.

Я промок до последней нитки. Все прилипло к телу и смертельно холодит меня. Боль в спине дает себя чувствовать сильнее. Нашупываю липкую, полусохшую кровяную корочку, прикосновение к которой болезненно. Теперь нет сомнения, что я ранен осколками снаряда, или камней, в спину.

Впереди холодная ночь. Согреться нечем. Засовываю свой френч в бриджи и застегиваюсь на все пуговицы. Сворачиваюсь "калачиком" прижавшись к земле и нагибаю на себя сухие листья. Но все это бесполезно. В лесу влажно, сыро. Все время ворочаюсь от холода. Растираю мускулы, что бы согреть тело. Но успокаивающий душу и тело сон, не идет ко мне.

"Боже, Боже! Почто Ты гонишь меня?" - всплывает в памяти библейское изречение.

Снова думаю о том, что этой же ночью, меня могут растерзать дикие звери, а утром - заколоть японцы... Поднимаюсь на сиденье, раскрываю полевую сумку, достаю тетрадь для донесений, и в темноте, наугад, большими каракулями, застывшими от холода пальцами - пишу "Завещание дорогому другу-жене и сыну".

"Поздний вечер 2-го апреля 1945 года. Отстал от баталиона. Жду утра в лесу. Завтра пленник....

Бедная моя жонушка, и ты, дорогой сын! Всевышний Боже - помоги им, несчастным сироточкам! Бедная моя жонушка! Ты предчувствовала нашу горе перед нашим неожиданным разставанием... Великая душа твоя! Воспитай сына в чести и труде.

Ваш навек Папа-Федяша.

Бедный мой сын!.. Будь честен и трудолюбив, как всю жизнь был твой Папа. Страдаю за грехи других. Помогите Вам Всевышний Бог!"

Написал. Вложил свой дневник в сумку и готовлюсь провести жуткую ночь.

Москиты роем атакуют меня. Сон не идет. Да мне и не до сна! Мысль лихорадочно работает. Вспоминаю описание "первой ночи" Робинзона Крузо на необитаемом острове и нахожу, что он был счастливее меня: - он не мерз так, как мерзну я. И ему не угрожали такие опасные враги, как японцы...

Вспоминаю гибель Польского графа Понятовского в 1914 году после поражения Наполеона под Лейпцигом. Он командовал тогда своим Польским корпусом и был одним из видных военачальников в Стане Наполеона. В бою он оказался отрезанным от своих войск с небольшой группой офицеров своего штаба. Спасаясь от преследования русских войск - он кинулся в реку, что бы переправиться вплавь но, будучи ранен - обезсилел, оторвался от своего коня и утонул на глазах своего штаба.

Я не командир корпуса, и не граф, а полковник Русской армии, теперь только лейтенант 5-го пехотного полка Иностранного Легиона Французской армии. Но я тоже отрезан от своих, как был отрезан и Граф Понятовский. И жду теперь гибели, жду "своего конца" в эту жуткую ночь... Я жду и буду ждать "часами", а он утонул сразу-же. Он был в лучших условиях чем я. Мне тяжелее еще и потому, что я старше его годами, чем он в момент своей гибели. Ему тогда было всего лишь 40 лет, а мне 52. Он был окружен своим штабом, и мог надеяться до последнего момента на помощь. Я же одинок здесь, в джунглях и мне совершенно не откуда ждать помощи. Я могу надеяться лишь на собственные силы, на упорство своей воли, на холодный расчет разсудка.

Недавно офицеры-авиаторы, ликвидировав свой запас - подарили мне несколько пачек папирос. Я был тогда не курящий и держал их "для угощения" своих легионеров. Вспомнив о них - я закуриваю, что бы успокоить нервы, что бы немножко согреться, что бы одурманить свой мозг и, может быть, вызвать сон. Выкуриваю подряд три папиросы, но... эффекта н и к а к о г о....

Мне безумно холодно. И холодно от сырости. Мое мокрое белье и одежда не просыхают от теплоты тела. Они холодят его еще больше. Засовываю руки под мышки, сворачиваюсь калачиком как можно теснее, влипаю в сухую землю, и от нее, и от сухих листьев - жду хоть немного тепла. И нахожу его для той половины тела, на которой лежу, а все остальное, обращенное наружу - жестоко холодно и я начинаю "стучать зубами", как в лихорадке. Я непрерывно поворачиваюсь с бока-на-бок, что бы их попеременно обогреть, так что о сне нечего и думать. Да и может-ли придти сон к человеку, охваченному такими жуткими переживаниями, со столь напряженными нервами?! Лишь на мгн впадаю

в забытьи и тогда мне кажется, что кто-то покрывает меня моей широкой шинелью, которая ушла на вьючной ротной лошаденке, и мне становится тепло и уютно. Но эти мгновения быстро проходят, я просыпаюсь, снова мерзну, снова переворачиваюсь с бока на бок, снова забываюсь и снова возвращаюсь проснувшись - к жуткой действительности...

Револьвер - моя единственная защита против дикаго зверя лежит возле меня, но я из него не сделал еще и одного выстрела и не знаю - боеспособный ли он, выданный мне только в походе?

III

Кругом мертвая тишина. Только безчисленные светлячки-мбки, словно печальные звездочки, плавно кружатся надо мною, напоминая, что природа продолжает жить своей повсегдашней многовековой жизнью, с полным равнодушием ко мне и к моим переживаниям. И лишь изредка, падение на землю сухой веточки, нарушает немой покой ночи и заставляет меня испуганно вздрогнуть - "не подкрадывается ли ко мне какой-либо хищник?"

Сон долго не приходил ко мне. Уже под утро, я забылся на час времени, или дольше. Разсвет сразу же разбудил меня.

- . -

П Л Е Н

Настало утро 3-го апреля. Безвыходность моего положения встала во весь свой рост передо мною, как только я проснулся.

"Кто я?" - была первая моя мысль.

"Где я?" - была вторая. И я сразу же вернулся к жуткой реальности. По лесу брался густой туман - сырой и серый. Тело онемело от холода. Куда же можно идти в этой непроницаемой мгле, с риском сразу же натолкнуться на японцев и быть убитым в упор?!

И я решил дожидаться когда туман рассеется. Лежу и думаю все о том же. ... о своей горькой судьбе. О том - какая жуткая штука - человеческая жизнь! ... О человеческой беспомощности. ... О том равнодушии, с которым мы относимся к судьбе других. Вот теперь - никому в мире нет до меня никакого дела! Конечно, кроме моей семьи, которая, я это знаю, все 25 дней нашей разлуки - безпрестанно думает обо мне, беспокоится, молится Богу и ... плачет.

И я "рисую" себе картину - как отнеслись в батальоне к моему исчезновению: - В штаб отряда послано короткое донесение, что -

"Лейтенант Елисеев /Элизэ/, в бою 2 го апреля, пропал без вести."

Не сомневаюсь, что многие офицеры и legionеры, искренне пожалеют о моей гибели. Я в этом уверен. Но я уверен и в том, что командир батальона, капитан де Кокборн - он изобразит саркастическую улыбку на своем худощавом сухом лице в пенсне и бросит свое любимое:

"О, мерд аллор! /О чорт возьми!/" - не мог "лейтенант Элизэ" уйти... не сумел... Ну, так туда ему и дорога!"

Кстати, это ему, даже, на руку: еще одна "потеря" в офицерском составе его батальона! И в военной реляции, это новое доказательство того, что его батальон "хорошо дерется" и потери... налицо. Значит и командир молодец - упорен в бою, достоин повышения в чине, о чем он так мечтает, желал быть генералом в 40 лет от роду, как он сказал как-то..

А жертва его полной нераспорядительности в боях, сидит в это время в кусте высохшего бамбука и грустно созерцает окружающую дику природу, еще не совсем проснувшуюся под молочной пеленой густого тумана. Вот только красавица блочка, в пяти шагах от меня, проделывал свои виртуозные "каскады" на длинной ветке, как будто желал меня ободрить и утешить этим,

дескать: - "Посмотри на меня!...как хороша жизнь! Почему ты грустишь? Вот я,ведь,играю!"

Но ей удалось лишь на минуту развлечь меня,а потом я почувствовал против нея какую-то досаду.Мне хотелось полного душевного и физического покоя; хотелось быть ко всему безразличным... Моя личная судьба поглощала целиком все мое внимание,и мне не было дела "ни до кого и ни до чего". Но когда она сорвалась с ветки и упала в заросли - я нервно вздрогнул: - "наверное кто-то крадется ко мне?"

У страха глаза велики - говорит русская пословица.Наверное,ее придумал,сказал,тот,кто побывал в подобном моему положении - положении загнанного и травимого зверя,очутившагося в беспомощном положении.

Туман стал рассеиваться.Я начал собираться "в поход".Уничтожил некоторые военные бумаги.Прочел написанное вчера в темноте "завешание семье" свидетельствующее своими чудовищными каракулями о пережитых мною,в тот момент,эмоциях.Добавил к написанному еще несколько строк:

"Отстал.... выносил раненого напрал-шефа Колерского и был "отрезан".

Раннее утро в лесу 3-го апреля 1945 года. Один в джунглях. Загнанный, затравленный. И сегодня,конечно,буду пленником,если не буду убитым."

А на передней обложке своей тетради-дневника,написал по-французски:

"Просьба препроводить эту тетрадь моей жене по адресу: Тонг. Рут Су

Донг,№ 11. Леутенант Элизэ,3 апреля 1945 г. Тонкин.Индокитай.

Приготовления закончены.Я привел в порядок свой походный мундир,весь истрепанный и грязный.Застегнулся на все крючки и пуговицы.Надел широкий свой пояс с офицерским плечевым ремнем и обе полевые сумки.На поясе револьвер,полученный мною в Сон Ля.До этого,я в своей роте его не имел.Я знал,что в результате встречи с японцами - в лучшем для меня случае - я окажусь пленником,а потому желал,что бы этот унижительный для меня "акт" перехода из состояния свободного человека на положение невольника,произошел бы в порядке,отвечающим достоинству офицера,что бы у меня был и внешний вид такового,а не "жалкого несчастного человека"....

Часы и массивный серебрянный футляр для очков "с инициалами и сувенирами" - я спрятал в кармане "между ног",надеясь,что при обыске - японцы, все-же,не полезут в мое интимное место....

На душе было не спокойно.Всего пять дней тому назад,28 марта,в дружеской беседе со мною,командант Токхадзе /грузин/ сообщил мне,что японцы не берут наших в плен и прикалывают штыками,считая нас не военным противником,а "повстанцами".Об этом же японцы предупреждали,расбрасывая со своих авиобом летучки.Конечно,мы не были "повстанцы" с точки зрения международного права.На нас напали японцы без предупреждения,и наш гарнизон,защищая интересы своей Страны и честь своего Национального Знамени,как и свою воинскую честь -уходит в Китай.Какие же мы "повстанцы"? Но от японцев можно было всего ожидать... Во всяком случае - мне надо действовать.

Туман уже разошелся.Как трудно,однако,было подняться со своего звериного ложа,на котором я провел 12 часов сряду,и двинуться в полную опасностями неизвестность!

Все-же,поднялся.Отряхнулся и,осторожно ступая,вышел из куста.Мне казалось,что сия же минуту я буду схвачен.Так сильно чувство страха,когда

человек сознает свое бессилие в борьбе.

Я вышел к тропе, спустился к ручью и напился воды. Человек в горе ищет Бога. Я молился горячо ЕМУ ночью и просил помощи. Помолился я и теперь, утром, пускаясь в неведомую мне обстановку какой-то новой для меня "авантюры" и... "отдался на Его Святую Волю".

Я решил выйти на главную дорогу и там найти "свою судьбу". Повернув назад - поднялся по вчерашней тропе. Скоро добрался до вершины, остановился и осмотрелся кругом. Удивился тому, что японский дозор меня не преследовал. Он легко мог бы меня настичь. Думаю, что он потерял меня из виду, а может быть побоялся гнаться за мною, считая, что я был не один..

Спустился по тропе вниз, в ту сторону, где я вчера не был. Обогнув несколько "оград для скота", сделанных жителями из бамбука, пересек лесную седловинку, еще немного прошел по тропе на восток и вверх и вздрогнул от неожиданности: - передо мною открылась полностью наша вчерашняя дорога. Моя тропа отходила от того самого "второго" перевальчика, к которому мы все так стремились вчера, видя за ним свое спасение. Но все это я сообразил позже. В первый момент я осматривался быстрыми взглядами во все стороны, точно вышедший из своего убежища, преследуемый охотниками, зверь, стараясь ответить самому себе на жгучий вопрос: - где я?

Мне стало теперь все ясно. Вчера, головной японский отряд, заняв этот перевальчик, конечно, послал по этой тропе дозор на запад. Он-то и столкнулся со мною. Задержись я на пол-минуты на той тропинке, по которой я возвращался "из тупика" у срубленного дерева - я столкнулся бы с ним "нос-к-носу" у разветвления троп. Что мог противопоставит я, совершенно изнемогающий от усталости, со своим дрянным револьвером старой системы, находившемся в кобуре - японскому победному солдату, вооруженному винтовкой с прикинутым длинным штыком? Японцы нас преследовали, следовательно, были активно настроены, всинственно-возбуждены и агрессивно-враждебны по отношению к нам, европейцам, и по своему азиатскому духу и по воспитанию в школе и в армии. Ненадо быть провидцем, что бы отгадать "финал" такой встречи в джунглях "с глазу-на-глаз"... Зачем ему надо было брать в плен отсталого и усталого "француза"? Этому жестокому и мстительному азиатцу, который предпочитает всему иному "штыковой бой", как завершение смертельной схватки с противником - он, явно, взял бы меня на штык....

Я остановился в нерешимости. Кругом царил такая тишина, точно весь мир вымер на сегодняшний день. Я стоял лицом к востоку. Вправо от меня, на юг, метрах в 50-ти, стояли два бамбуковых сарая. Их я вчера не видел, т.к. не успел дойти до них. А за ними открылась вся панорама нашего вчерашнего отступления, видимого мною сейчас с другой стороны, и уже совершенно спокойно, без всякого "внешнего давления". Глядя на нее, я снова переживал события вчерашнего боя, отдельные эпизоды которого, калейдоскопом запрыгали в моих глазах, в моем сознании и в моем сердце. Мне стало невыносимо тяжело. Я понимал, что нечто бесконечно-дорогое безвозвратно потеряно для меня, и что случившееся со мною - непоправимо никем, ничем и никогда...

Мы отступали вчера по громадной впадине горного лесистого массива, и наша длиннейшая зигзагообразная дорога, теперь резко бросалась в глаза своими большими крутыми извилинами. Фантастическими узлами растягивалась она на 4 километра, концами своими связывая два перевала, между которыми, по воздушной линии, было всего лишь 700-800 метров. Мне пришлось потом еще три раза прошагать эту дорогу, но уже в качестве японского пленника. Я точно изучил ее и, даже, тайком, набросал кроки местности. Дорога, остро извиваясь, делала 13 острых зигзагов, спускался все время вниз до того ручья, в который я вчера свалился. Наша оборонительная позиция должна была бы быть именно здесь, на этом перевале, с которого так четко видны все подступы к нему на протяжении около 4-х километров. Мы же заняли позицию не перем перевале, с глубокой котловиной позади себя, где мы, на протяжении этих

4-х километрах - были открыты, при своем отходе, ближнему пулеметному и бомбометному огню японцев. Вся котловина, как и оба моста через ручей, простреливались ими с того перевала безо всякого труда и прямой наводкой. Все это "изучение местности" запечатлелось в моем возмании с одного взгляда. Да у меня и не было времени углубляться в изучение подробно. Ведь я находился в "безвоздушном пространстве", а фактически - в японском тылу. Об этом сообщил мне вчера японский пулемет, а сейчас, несколько свежих колесных следов на дороге, ясно отпечатавшимся на сыром грунте. Вчера здесь было шумно от беспорядочно ухрюкающих людей, а сегодня здесь очень тихо и пустынно.

Спускаюсь вниз, к сараям. В них ни души. Тревожно смотрю по сторонам, словно Робинзон, открывший так неожиданно "след неведомого человека" и ожидающий внезапного нападения с его стороны.

Нервно вздрагиваю. На пригорке, лицом ко мне, за взорванным мохом, лежало человек 20 японских солдат. Два дозорных лежали впереди. Все они отдыхали, видимо, делая "малый привал". Дозорные увидели меня раньше, чем я их, и уже вскричали на ноги, взмахами рук, зовя к себе.

"Ну, вот, тут-то и решится моя судьба!" пронеслась искрой мысль и легкий холодок страха, пронизал все мое тело. Напряжением воли подавив нервную дрожь твердыми широкими шагами иду к ним. Они быстро подбегают ко мне, срывают револьвер и полевые сумки и остро осматривают меня с ног и до головы, своими суровыми глазами. От главной группы отделяется еще несколько человек, быстро подходят и окружают меня, но в их взглядах я не вижу злобы, а скорее иронию торжества над победителем.

"Ки ву зэт?" /Кто Вы такой?/, спрашивает меня по-французски молодой и красивый японец при палке и полевой сумке.

"Л, офисье дэ л'Армэ Франсэз" /Офицер Французской Армии/, отвечаю коротко, изучая его - кто он? А он немедленно же переводит мои слова своим солдатам и те смеются нехорошим смехом, не спуская с меня глаз.

Напрягая свои скудные знания французского языка - он спрашивает еще:

"У э жэнераль Алессандри э колонель Франсуа?" /Где находится генерал Алессандри и полковник Франсуа?/. И не дождавшись ответа, ставит новый вопрос:

"У э жапон групп?" /Где Японская войска?/

Незная точно, как далеко продвинулись за ночь преследования японцы - я неопределенно указал на запад.

Он сказал что-то солдатам, которые, все до одного, собрались около нас, и те разразились смехом, но не злым, а каким-то снисходительно-презрительным, продолжал исследовать меня с ног до головы сначала взглядами, точно я упал с другой планеты, а потом очень безцеремонно обшарили мои карманы и полевые сумки, забрали из них аспирин и хинин; сумки вернули.

Хотя этот обыск несколько не противоречил международному праву войны, но когда японские солдаты очень нахально и грубо полезли в мои карманы - я почувствовал себя глубоко оскорбленным, и морально и физически. Но еще более меня жег стыд за свою беспомощность, за свое бессилие к сопротивлению, к протесту, которые были не только что бесполезны, но и опасны. В этот момент я почувствовал и понял все трагическое значение перехода на положение пленника, становящегося безправной вещью в руках своих победителей. Мне было стыдно смотреть им в глаза. Но с другой стороны - критический момент миновал и я испытываю некоторое облегчение. Страх быть немедленно убитым - исчез. И я беру инициативу и внимательно изучаю своих врагов, японских солдат - их настроение, выправку, воинский вид, обмундирование, вооружение, дисциплину. На их забавных, с точки зрения европейца, лицах - нет и намёка на добродушие, но нет и выражения кровожадной жестокости. Они схибно скалят зубы в насмешливую улыбку: - "Вот, дескать, ты и попался нам, господин хороший, офицер французский... а что с тобой делать, это уж мы, брат,

сами хорошо знаем!"

Одеты они были бедно. Все на них сильно потрепанное и довольно грязное, в особенности обувь, ботинки. Но все это сидит на них воински-однообразно, аккуратно. Никакой неряшливости и внешней распушенности. За плечами у каждого очень большой и, видимо, очень тяжелый однообразный ранец. И при этом "потертом виде" - лица у них свежие. Видимо, они хорошо питаются. Все они молоды, не старше 23-25 лет от роду. Винтовки у них в отличном состоянии. Они мне кажутся чрезвычайно длинными в сравнении с нашими карабинами, которыми вооружены легионеры, и весьма внушительными для боя.

Оглядев всех, я понял, что со мною разговаривает офицер. У него серьезное и интеллигентное лицо. Только он один имел оригинальную японскую саблю-палаш, но его обмундирование ни чем не отличалось от солдатского, разве, только, было несколько чище и аккуратней пригнано. Во всех манерах у него чувствовалась большая внутренняя выдержанность и благородство. Таков был мой "первый знакомец" среди японских офицеров, лейтенант Сано.

Он знал по-французски лишь несколько вопросительных фраз, но совершенно не был в состоянии ответить на мои вопросы. Он подкупил меня своей корректностью в обращении со мной с момента нашей первой встречи и внушил уверенность, что в его присутствии, японские солдаты, не позволят себе никакого насилия в отношении меня. И в этом я не обманулся.

Общее же, первое впечатление от японцев было у меня не плохое. Все они разговаривали между собой весело и дружелюбно, даже учтиво. Все говорили тихо, без выкриков и резких жестов. Говорят, очевидно, обо мне, все время улыбаясь и разглядывая меня с живейшим любопытством. Но эта сцена продолжалась не долго. Отряд двинулся вперед, и офицер, жестом указал мне следовать рядом с ним, произнеся строго лишь одно слово - "марш!" Видимо - марш!

Метров на 50 идут два дозорных. Солдаты уже утомлены. Шагают грузно и тяжело, делая не более 4-х километров в час. Уж очень они нагружены своими сумами-ранцами. Меня профессионально интересует содержимое их, но я этого, пока, не знаю. У офицера тоже ранец, но чуть меньше солдатского. На груди у него полевая сумка, но, как я замечаю, она больше наполнена папиросами, чем бумагами и картами.

Мы идем молча. Лейтенант Сано не говорит ни по-французски, ни по-английски, ни по-русски. А я, разумеется, не говорю по-японски. Изподтишка изучаю его, теperашнего властителя над моей жизнью.

У него изящная фигура. Типично-монгольское, мертво-непроницаемое, лицо, но оно красиво по-своему. Он молод, как и его солдаты. Видимо, он из хорошей семьи и хорошо воспитан. Это чувствуется во всем, и в особенности в манере говорить. Со мною он выдерживает благородный тон чисто по-офицерски; со своими солдатами он обращается скромно, но властно и в сознании своего авторитета. Он маленького роста, пухленький, но видимо мускулистый. Он очень забавно шагает своими маленькими ногами, словно "иноходит", и при этом, слегка раскачиваясь в плечах. Его ранец покрыт для маскировки от неприятельских авианов "сеткой в плюмаже", которая своей пестротой, почему-то, вызывает у меня воспоминание "о шарфе", который дарил средневековая дама своим рыцарям, выступавших на конных ристалищах в Европе. У солдат ранцы за спинами замаскированы ветвями деревьев, или обрывками вьющихся тропических растений.

Я чувствую, как у меня все более растет симпатия к этому японскому офицеру, лейтенанту Сано, во всей осанке которого, сквозит интеллигентность, воспитанность, благородство и офицерское достоинство.

В трех шагах позади, "взатылок" ему держится малорослый курносенький светловолосый солдатик с постоянно-улыбающейся, детски-наивной физиономией нашего типичного русского "Ваньки". Когда я оборачиваюсь - он смотрит на меня с той же улыбкой, а что он при этом думает - мне не известно.

Я успел заметить, что лейтенант Сано приказал что-то одному солдату

глазами указав на меня, и этот солдат следует непосредственно за мною в 5-6-ти шагах. Я испытываю неприятное ощущение, что ему поручено наблюдать за мной. Весь взвод идет в колонне "по-два", по обочинам дороги. Лейтенант Сано идет по правой, ближе к зарослям и пропастям, а я иду по левой, у окраины гор. Я хочу себя разуверить, что солдат "не следит" за мною; бросаю украдкой взгляд назад, и убеждаюсь, что я не ошибся: он идет за мною точно в пяти шагах, не отставая и не приближаясь и сосредоточенно смотрит мне в затылок. Что бы не разстраивать себя всякими тревожными предположениями, я внушил себе мысль, что это вполне нормально и с этим надо примириться.

Так проходит около часа нашего марша. Остановка на малый привал. Курносый солдатик быстро растилает у дороги довольно грязное полотно палатки и лейтенант Сано спокойно, не спеша, с достоинством начальника, садится на него по-восточному, свернув калачиком свои короткие ноги; вынимает полую книжку и что-то в ней пишет. Выдавливая из себя французскую фразу - спрашивает мою фамилию. Становится ясным, что он пишет донесение "о пленении французского офицера, по фамилии "Элизе". Потом он спрашивает мой чин; и услышав слово "лейтенант" - он, как-то особенно внимательно и испытывающе глядит мне в глаза. Отгадать точно, о чем он в это время думал, по его азиатско-непроницаемому лицу, было невозможно. Но я думаю, что мой ответ возбудил в нем сомнение: - я был слишком стар для такого небольшого чина. Небритая вот уже три недели борода - резко выделялась своей частой сединой на фоне всего загорелого лица. Да и самое лицо выглядело достаточно "поплекшим" после всего пережитого... Интересно отметить, что он сразу же запомнил мою фамилию, выговариваемое по-французски - "Элизе". По-русски - ему труднее было бы запомнить и произносить.

Мой долгий военный и житейский опыт, приучил меня внимательно наблюдать всякую новую для меня обстановку, делать сравнения и выводы. И я сразу же понял, что курносый солдатик - его "вестовой, деньщик". Он, без всякого приказания, пока его офицер писал, принялся готовить какую-то "еду", что-то крошит ножом. Потом подал ему, с величайшей почтительностью, приготовленное. Это был поразительной белизны рис и на нем какое-то "зелье" желтоватого цвета. Подал две палочки, вместо вилки и ножа. Поставив все это с очень сердечной улыбкой, он что-то спросил у лейтенанта, кивнув в мою сторону. Я понял, что солдатик спрашивает: - "дать-ли поесть и пленному?" Лейтенант что-то буркнул себе под нос, продолжая писать. Через 2-3 минуты, я получил такую-же порцию риса и несколько кусочков того-же, незнакомаго мне, "зелия". Это была "первая моя пища" с утра вчерашнего дня. С, сл я все с полным апетитом, хотя рис и не был ничем заправлен, а "желтое зелие" оказалось, чем то остро-соленным и не совсем, на мой вкус, с, едобным. После еды Сано предложил выпить воды из своей бамбуки. Вода была очищенная химически и была не вкусная. Я попросил "обыкновенной" и мне принес ее все тот же услужливый курносый солдатик. Вся церемония еды происходила "за одним столом" с лейтенантом Сано, виз-а-ви, на его полотно. С его стороны это было очень похвально, и чисто по-офицерски.

Остальные солдаты так же завтракали. И как все их поведение было не похоже на манеры наших легионеров! В походе они шли скромно, не разговаривая и не растягиваясь в колонне. Все шло молча, или тихо перебрасывались фразами и то, лишь, с ближайшими соседями по строю. Так-же держали они себя и во время еды. Сано держал себя, как-бы, изолированно от них. Он был, видимо в их понятиях, существом "из другого мира".

Закончив донесение, лейтенант Сано приказал положить его "под камень" в изгибе дороги и солдат проделал все это на моих глазах. Такой способ сообщения с тылом я вижу впервые и он мне понравился своею практичностью. И мне теперь стало понятно, почему солдаты, проходя внутренний изгиб дороги - их так внимательно осматривали и перебрачивали отдельные камни: они искали сообщений от частей, находившихся впереди них.

Такой способ "связи", без напрасной затраты людских сил, мне очень понравился своей практичностью. Я попал в совершенно новую, столь отличительную от европейской, военную среду и изучал ее с большим интересом, стараясь не поддаться в том виде.

Отдохнув - двинулись дальше. Заинтересовало меня и еще одно наблюдение: - Отдавая приказание солдатам - лейтенант с достоинством восточного владыки, произносил их тихим голосом, словно про себя, и не оглядываясь назад, к своим подчиненным. Их немедленно подхватывал все тот же курносый солдатик и выкрикивал, повернувшись лицом к колонне. Некоторые солдаты отвечали ему однозвучным междометием - "Хэй!", что означало, как я потом узнал - "Есть!" т.е. - "Все понятно!" или - "Слушаюсь!"

Мой "путь в неволе" был невыносимо скучным. Шли мы с Сано молча, и я был, словно "на-привязи" возле него. Но, пока, никаких внешних тяжелых последствий своего "пленения", я не испытывал. Разве, только, внутренне, духовно.

Около 17-ти часов /пять вечера/, мы остановились на ночлег в, оставленном жителями-аннамитами, селе. Мне указали место в сарае, вместе с Сано, но в противоположной стене. Это меня обрадовало.

Лейтенант Сано, усевшись на циновку, немедленно же принялся что-то писать и писал очень долго. У меня не было никаких вещей для сна и, с разрешения его - я взял тоже циновку, изрядно грязную. В изголовье положил свою полевую сумку. Укрыться не чем...

Сижу молча на циновке, изредка поглядываю на Сано и... чего-то жду. А чего - сам не знаю. Я ведь пленник! Имею права только смотреть и думать.

Я очень грязен. Жестами показываю, что хочу помыть лицо и руки. Он легко и без часового, отпустил меня. По дороге к ручью, вижу новую для себя картину: - все солдаты, совершенно голые, лишь с легкой короткой повязкой на бедрах, прикрывая только "интимное свое место" с большим аппетитом едят рис со свининой. Увидев меня, они широко, и уже добродушно, скалят на меня в улыбке свои зубы и знаками зовут к себе. Не зная - в чем дело? - я насторожено подхожу. Они радушно и весело наливают мне рюмку местной водки "шум-шум". Что бы не оскорбить их гостеприимства, столь священного у восточных народов - я выпиваю эту вонючую жидкость, чем привожу всех в детский восторг. А когда я попросил кусочек свинины "на закуску" после этого отвратительного напитка - они весело и щедро дают его и настойчиво предлагают вторую рюмку, от которой я решительно отказался.

В японской армии, солдатам открыто разрешается пить спиртные напитки. Нагнувшись к ручью, что бы умыться - почувствовал боль в спине от сохшей на ране крови. "Достать" руками, что бы промыть ее - не мог. Признаться же в этом Сано - не хотел. Бог его знает, как он на это посмотрит?

Хорошенько вымыл лицо и руки - на обратном пути узнаю, что это есть батальонный взвод радио-станции. Он состоит из 19-ти солдат. Они все вооружены винтовками, при одном пулемете. Сам же радио-аппарат помещался в одном небольшом ящике, и его нес один солдат у себя на спине. Такая портативность меня, просто, восхитила. У нас же, радио-аппарат состоял из 2-х ящиков и возился на лошади.

Ужинаю один. Дали всего вдоволь. С наступлением темноты - все немедленно же уложились спать.

После полутора суток бодрствования и жутких переживаний - я уснул быстро, и крепко и без сновидений. И был очень удивлен, когда кто-то очень резко и грубо разбудил меня еще в темноте. Открыв глаза - я не сразу пришел в себя - где я, и кто и что я? И только при виде торопящего меня подняться "с ложа" японца - я вспомнил, и понял, что я - в плену....

Взвод лейтенанта Сано выступил дальше на запад, к позициям. Который был час времени, я не знал, но было еще очень темно.

Солдаты молча и быстро собрались и вышли за своим офицером. Выстроились. В полной темноте слышу воинские команды на резком гортанном языке. Это взвод салютует своему командиру. Лейтенант Сано говорит солдатам что то коротко и тихим голосом. И потом, наша маленькая колонна вытягивается по дороге на запад. Так начался день 4-го апреля.

До рассвета взвод сделал три малых привала, т.е. прошли три часа. Шли медленно, т.к. разрушенные мосты нашими войсками, задерживали переход через речки. У каждого разрушенного моста я чувствовал себя неловко, ожидая враждебного отношения к себе японских солдат, но их не было. Вообще, они идут всегда молча за своим офицером, ничем не выражая свои чувства, настроения.

Рассвело. Колонна направляется к селу Дьен-Вьен-Фу. Это есть последний Французский административный центр перед Китайской границей и, так называемая "5-я военная зона", о чем я знал. Но до самой границы еще далеко. Кругом пустынно. Ни жителей, ни войск. Вдали слышны глухие взрывы. Думаю - это наши рвут мосты.

Как и вчера - мы шли молча. Лейтенант Сано был безупречно корректен со мной.. С его солдатами я совершенно не соприкасаюсь. Иду с ним рядом, а солдаты позади. Все это меня успокаивало.

Оставалось около 9-ти километров до села, когда был сделан большой привал. Неожиданно, лейтенант Сано, с несколькими солдатами, ушел вперед, остальные задержались под командой сержанта. Я остался с ними. Игнорированная обстановка резко изменилась. Солдаты окружили меня и с властной безцеремонностью, полезли в мои сумки и в карманы. В их лицах и глазах не осталось ничего от тех дисциплинированных и молчаливых солдат, какими они были в присутствии своего офицера. В зверином оснале зубов, сразу же отразилась вся ненависть ко мне, как, конечно, и французскому офицеру. Обискивая меня, они злобно рычали и старались подчеркнуть свою неограниченную власть надо мною и мою полную незащищенность перед ними. Я мысленно возблагодарил Бога, что "первая встреча" с ними, произошла на глазах их офицера. Иначе - меня не было бы уже в живых....

Один из солдат, увидев обручальное кольцо - резко, и умело, хотел сдернуть его с пальца. Я вздрогнул от негодования. Кровь ударила в лицо от такого неожиданного кощунственного оскорбления. Это кольцо для меня священная вещь. Я ношу его не снимая, вот уже, 21 год. Оно, как бы,росло в палец, на который одето два десятка лет тому наза, когда я первый раз вступил в таинство священного православного брака. И вдруг солдат чужой страны, какой-то варвар, желает его снять, "отнять у меня его", точно это есть какая-то обычная вещь... Выврять силой у меня, да еще в такой трагической обстановке, это было выше того, что я мог допустить. Я силой выдернул свою руку из двух рук варвара, точно меня коснулось нечто страшное и отвратительное. Отскочив резко в сторону, я по-словам, что бы им было понятно - выкрикиваю несколько раз, сакраментальное слово, указывая на кольцо: - "Мадам!... Мадам!", стараюсь этим обяснить, что это кольцо обручальное. Но тот же варвар снова хватает меня выше кисти и резко тянет к себе, а другой рукой старается снять кольцо. Я теряю всякое самообладание от гнева на это оскорбление, рывком выдергиваю свою руку /физических сил у меня хватило бы и на двух таких японцев/, отскакиваю на несколько шагов в сторону, что бы "оторваться" от этого дикаря и, скрывшись за деревом, делаю вид, что удовлетворяю внезапный приступ "естественной надобности", но сам быстро срываю кольцо и прячу его в свое "потайное место", в кармане, висевшем на поясе-корсаже, оторванном от старых бриджей и надетом на мое тело под платьем и... между ног. Еще вчера утром, туда я спрятал часы и серебрянный футляр от очков. Но тогда я и не подумал, что у пленного офицера, победителя, могут отнять его обручальное кольцо, а потому его и не скрывал.

Солдат, дважды получивший от меня "отпор" - оставил меня в покое, но тут-же началась очень неприятная "сцена" с сержантом, заместителем Сано.

Он знаком подозвал меня к себе и когда я подошел - жестом приказал взять ранец одного солдата. Я решительно отказался. Тогда он встал, грубо схватил меня за руку, злобно потянул к себе и, с помощью еще одного солдата, в один миг накинул на меня этот ранец и зашнуровал на моей груди лямки, что бы я не сбросил с себя эту ношу. Все это разыгралось с такой быстротой, и с такой раздраженной властью, что я не имел времени сделать сопротивления, а потом понял его бесполезность и.... бессмысленность. Я почувствовал на своей спине нечто очень тяжелое, грязное, отдающее тошнотворно вонючим потом. Подчиняясь силе - я оправил ненависную мне ношу, установил правильное равновесие "своего вьюка" и, под испытывающе-презрительными взглядами, сопровождаемыми ехидно-торжествующими улыбками солдат - молча, с угрюмо-оскорбленным видом - зашагал в общей колонне.

Теперь я почувствовал впервые, и уже "на-практике", смысл понятий "быть пленником"... Глядя на два золотых галуна на рукаве своего потертого и до нельзя грязного френча, которые определяли мой чин "лейтенанта Французской армии" - я испытывал всю жгучесть нанесенного мне, и моему офицерскому достоинству, оскорбления. И переживая все это - я несущу тяжелый грязный ранец японского солдата-монгола на своих плечах офицера-европейца... Большого унижения придумать было невозможно. Но это поймет только тот, кто долго жил "в колониях" и знает установившуюся социальную грань между всеми людьми "белой кожи" и туземцами с черной, коричневой, желтой....

Между тем, "профессиональное" любопытство берет верх над чувством обиды и досады. Я начинаю прощупывать руками на ходу содержимое своей ноши, общим весом килограммов в 40. "Укладна" японского солдата на походе состоит из запаса патронов, котелка вареного риса, сухого риса на несколько дней, протнища палатки, пары тяжелых запасных ботинок и еще кос-каких индивидуальных вещей. Ранец носится на широких нитяных лямках, почему и не режет плечь. Таков был полученный европейским офицером "наглядный урок" о снаряжении японского солдата. Горькая ирония.... "Горе побежденным".... И тому же, ранец давил на рану, вокруг которой появилась опухоль.

Недоходя трех километров до Дьен-Вьен-Фу - мы достигли пункта, где в лесу было укрыто от американских авианов несколько рот японских солдат. Я впервые увидел их в большой массе. Было около 14-ти часов /24.дня/. Они обседали. Картина совершенно непривычная и неприличная для европейца-военного. Все они были совершенно голые, лишь с маленьким "передничком" из белого лоскута материи на бедрах, прикрывающих их интимное место, но все были в головных уборах, в своих уродливых кепках. Группами по 10 человек, сидя на корточках у своих котелков, они с чрезвычайной быстротой, и с большим аппетитом, при помощи бамбуковых палочек, поглощали рис с мясом. Они весело скалили зубы во время еды, но очень редко перебрасывались между собой фразами. Все они были молоды.

Заметив наше приближение, да еще с пленным французом, навьюченным японским ранцем - многие подошли к нам и быстро заговорили между собой, явно, обо мне. Потом радостно загоготали, выслушав моих конвоиров, широко раскрыв неправильного, некрасивого рисунка рта на своих скуластых лицах и обнажая крупные неровные желтые зубы.

"Аа... попалась ворона!... теперь от нас ты не уйдешь!" словно говорили они и стали разсматривать меня с насмешливым любопытством, как какую-то заморскую диковинку, и безцеремонно заглядывали мне в лицо, в глаза... Я принял "мину" неуязвимости и на их непонятные вопросы, отвечал деланной улыбкой беззаботного безразличия, хотя внутри все кипело от негодования. Я остро почувствовал, что нахожусь среди совершенно чуждых мне людей, чуждых не только что по-языку, по цвету кожи, но чуждых по всей своей психологии. Мои офицерские галуны, через материю рукава, жгли чувством стыда душу, и я стоял окруженный толпой монголов, нагруженный тяжелым ранцем японского солдата, от которого исходил какой-то острый, специфически вонючий запах, служа мишенью бесчисленных непонятных мне острот и насмешек...

Я почувствовал, подумал, что точно так-же "гоготали" и канибалы, окружив свою жертву, доподлинно зная, что она от них не уйдет и будет, вот сейчас съедена. Оо?... теперь я понял весь ужас быть пленником, да еще у азиатов...

Какой-то пожилой, маленький, сухенький, но brave японский солдат с тремя звездочками на петлицах своего мундира, вышел из леса, подошел ко мне и что-то весело болтая, очевидно, отпуская какие-то остроты по моему адресу, покровительственно похлопал меня по плечу. Все присутствующие разразились хохотом. Не долго думая - я ответил ему "в тон", т.е. с улыбкой, небрежно, и в свою очередь, похлопал его по плечу. Новый взрыв хохота, пожалуй, еще более громкий и всеобщий, последовал за сим. "Три звездочки" несколько озадачены и смущены... Оказалось, как потом я узнал, это был важный по своему положению человек, "фельдфебель при штабе батальона".

В этот момент, из-за кустов, где обедали японцы, ко мне вышел солдат во французской форме мундира. Его появление было для меня такой приятной неожиданностью, точно мне бросили "якорь спасения". Вид у него был очень грустный, но одет он был гораздо опрятнее меня. Флегматично сделав полу-военное приветствие - он уставился на меня.

"Ки Ву зэт?" /Кто Вы?/- радостно спросил его, единственного представителя здесь человека "своей расы", среди окружающих нас чужаков.

"Легионер"... с той же флегматичностью ответил он.

"Пленный?... какой роты?... как Ваша фамилия?" забросал его вопросами энергичным, обрадованным тоном.

"Вольф... 1-й роты"... с жалким видом несчастного, вяло тянет он.

"Как с Вами тут обращаются?" - стучусь в его душу.

"Да ничего"... неопределенно мамлит он.

Наш французский диалог происходит при сразу-же воцарившейся тишине среди японских солдат. Они с острым любопытством вслушиваются в непонятную им речь. И потом, на зубоскалившись внаглую со своими товарищами - мои конвоиры двинулись дальше в село, где всего лишь несколько часов тому назад, была еще французская власть. Только несколько часов тому назад, здесь были, что-то делали, ели и пили те, с кем за два года пребывания в Легионе, я делал радости мирной жизни в полку и тяжести-опасности недавнего похода. Теперь же я прохожу влелед за ними - одинокий, пленный... и в полной неизвестности того, что ждет меня впереди...

С такими тяжелыми мыслями, около 17-ти часов - мы вошли в село Дьен-Бьен-Фу, последний военный и административный оплот Французской колониальной системы и последний военный форт для сопротивления против новой системы Японии - "Азия для азиатов".

Уже подходил сюда - я изучаю "подступы" для военных операций. Ищу глазами - где была наша "главная позиция" и где был дан "главный бой"? С удовлетворением констатирую, что рельеф местности благоприятствовал нашим войскам, но... никакого боя здесь н е б ы л о.

В селе, у кирпичного здания казенного типа, стоят два аннамитских мандарина-чиновники в национальных костюмах и с туземными значками на груди, как эмблемы их должности. Они униженно-подобострастно и, вижу, со страхом ждут аудиенции у новых властителей сих мест... Мы тоже останавливаемся у этого здания. Увидев меня, французского офицера, один из них вопрошающе смотрит на меня своими живыми глазами. Тихо, украдкой, спрашиваю - кто он? Так же конспиративно - он говорит о своем звании "Три-Шю", т.е. помощник здесь французского администратора, который должен быть местный житель и иметь французской высшее образование. Таков был закон Франции. Я интересуюсь судьбой нашего отряда. Он глазами указывает на юго-запад, коротко добавив - "ушли в 11 часов утра". Итак, я иду "по горячим" еще следам своим. От этого сознания - на душе делается горько и обидно...

Меня ведут дальше через село, на высокий бугор, где виден укрепленный двор с европейскими постройками. Входим в этот "опорный пункт" французской власти над окружающей местностью - джунглями. Кирпичные стены с бойницами. У стен - казармы и службы. В центре двора - дом администратора. Все разбито и загромождено: столы, стулья, шкафы, двери, ставни, стекла в окнах. .Всюду разбросаны сундуки, ящики, боченки, матрацы, кровати и др. рухлядь, необходимая в человеческом обиходе. Мне, почему-то, становится стыдно за этот беспорядок, что сделали наши легионеры при отступлении и, одновременно, тревожно: - а что, если мой озлобленный сержант, вот сейчас-же, "ткнет меня носом" во все это и, в отместку за устроенный нашими войсками погром, заставит "все вычистить".

Я тогда еще не знал, что и японцы так же все разрушают и портят, не только что при отходе, но и во все время своего пребывания на этой территории. Таков, быть может, обычай всех армий мира? Особенно тогда, когда они знают, что "сюда им все равно больше не придется вернуться".

Во дворе, японские солдаты быстро сбросили свои ранцы и разошлись кто куда - попало, наверное, в поисках пищи. Я, тоже, с облегчением отделался от своей ноши, промял затекшие мускулы, оправил белье прилипшее к ране и пошел по двору, "изучая отход наших".

Мне очень хотелось пить и есть, но я, прежде всего, ознакомился с местностью.

Укрепленный двор находился на самом "пупе" возвышенности. С него, во все стороны, кроме северо-востока - вся окрестность была видна как на ладони. Это была широкая долина, поросшая не высоким лесом. Километров 40 на запад, синели высоты горы, может-быть, уже китайския? - со вздохом подумал я.

Внизу, под самым двором - разбита прекрасно оборудованная футбольная площадка, сейчас совершенно безлюдная. А там, на юго-запад, куда потонулась главная дорога, возможно, что всего лишь в пяти километрах отсюда - находятся наши войска... "Эх!... будь у меня крылья!... улетел бы туда немедленно же к своим!"... заняло сердце острой болью, а голову сдавило сознание безнадежности своего положения.

За стеной я увидел бочку на двухколесной телеге. Заговорила жажда. Хватаю свою большую кружку и иду туда. Да, это вода - чистая, вкусная. Напиваясь внаглую и с полной кружкой воды иду в казарму. Какой-то японский солдат, очищавший рис для варки, хватает мою кружку и выпивает воду до дна. Отношусь к этому без обиды: - в горе, в голоде и жажде - все люди равны. Надо помогать друг-другу, тем более, мы оба - воины, а следовательно, товарищи. Я не знал еще, что японцы, вообще, очень безцеремонны со своими пленниками и считают их своими рабами.

Эту сцену, незаметно для меня, наблюдал мой сержант. Не торопясь он подходит ко мне, остановился и знаками показал, что - "если я еще раз позволю себе отлучиться - то он меня убьет". Он живо изобразил, как он в меня выстрелит, и как я упаду на землю и буду умирать, корчась и страдая.

Пробыв под его властью всего лишь несколько часов - я несколько не сомневался, что он немедленно же приведет в исполнение свою угрозу, буде в том представится предлог. В ответ - я выдал на своем лице трафаретную "беззаботную улыбку", что бы смягчить его суровость, но достиг совершенно противоположного результата: - он принял ее за насмешку над ним, злобно зарычал и приказал мне "лечь спать".

Я понял, что сержант шутить не любит и с ним надо "держаться на острие", иначе рискуешь поплатиться, даже, жизнью. Тем не менее, показывал ему, что солнце еще высоко от своего заката и что спать еще рано! Этого противоречия он стерпеть не мог, и еще с большим рычанием он приказывает мне не только что ложиться спать, но и снять обувь и чулки. Чувствую, что при дальнейших возражениях, он не остановится и перед тем, что бы ударить меня по лицу.

Довести дело до такого финала я не хочу. С явной неохотой, и не спеша, я ложусь на указанное место. Он угрюмо смотрит и следит за мной, пока я не лег. Только тогда он уходит.

Ночью здесь будет очень холодно. На мне, всего лишь, легкий летний китель. Выхожу из казармы после удаления сержанта, собираю выброшенную из матраца старую грязную солому и подстилаю ее под себя. У разбитого камиона нахожу грязный мешок, которым шофер-француз, очевидно, вытира свой мотор. Подбираю его, вытряхиваю его и покрываю им солому. Жуткая действительность...

Лежу с открытыми глазами. Положение "невольника" вызывает протест всего моего существа. Нервные мурашки пробегают по всему телу от жгучаго не-терпеливаго желанія свободы. Душу гложет нестерпимая тоска. Думаю о жене и сыне. Мое душевное состояние становится н е в ы н о с и м ы м. Я не могу больше лежать. Поднимаюсь, сажусь по-турецки на свое ложе и жадно осматриваюсь по сторонам, ища чего-то. А чего - и сам не знаю.

Вокруг меня ужасающая грязь после солдатскаго постоя, уходя с котораго, они знали, что никогда не вернуться сюда, почему и "пакостили все". Ближайшая к моему ложу дверь сержант предусмотрительно задвинул на засов с другой стороны, что-бы предупредить возможность моего "бегства" через нес, ночью. Но... куда бежать?

Следующий выход из казармы в другом конце, и что бы добраться до него, надо пройти мимо всех японских солдат, расположившихся здесь. Заметив, что я сижу - сержант подходит снова и приказывает лечь спать так строго и настойчиво, что я подчиняюсь и.... неожиданно для себя крепко засыпаю, человека измученнаго душой.

Вдруг кто-то меня будит. Открываю глаза и вижу, что сержант принес мне на ужин полный котелок белого варенаго риса. Не знаю почему, но у меня нет никакого аппетита. Что бы не огрчать своего стража, я ем немного и через силу. Он смотрит на меня с удивлением. Потом, видимо, понимая мое душевное состояние - он очень дружелюбно уговаривает меня есть. Я отказываюсь и укладываюсь снова спать, внутренне сожалея, что мой крепкий сон был нарушен.

Я не сомневаюсь, что сержант был примерным японским солдатом и, быть может, был добрым человеком. Но мы встретились тогда, когда "мое место под луной" было так неприглядно, и я имел его в роли тюремщика.

Лежу и думаю, что в таком положении, меня могут держать еще много дней, или недель, или, даже, месяцев.... Такая перспектива наводит на меня дикий ужас. Стараюсь думать о семье, потом о своей неудачной жизни и... снова погружаюсь в приносящий забвение сон.

Просыпаюсь еще дважды от чьих-то прикосновений к моим босым ногам. Кто то в темноте ощупывает мои ноги, желая, видимо, убедиться, что "я не убежал". Такая предосторожность-контроль меня веселит слегка и мне нравится, что свою службу дневальный, или часовой, или сам сержант - несут добросовестно. Я стараюсь не показывать контролирующему, что я проснулся и чувствую это.

Бежать?... Но куда я могу убежать ночью?... в джунглях и при такой охране?

Утром 5-го апреля, я проснулся рано и с первой мыслью: - "Что день грядущий мне готовит?"

Мне дали варенаго риса. Он был не вкусный, но силы-то подкрепить надо! После еды сижу на своем ложе и передумываю свои горькия думы. В казарму вошел какой-то молодой японец, в шлепанцах на босу ногу, но при сабле-палаше и сказал что-то моему сержанту. Тот приказал мне одеться и обуться.

Я обрадовался: - наверное поведут в штаб для допроса! А что будет дальше - меня мало интересовало. Мне важно покинуть этот мрачный угол моего заточения и избавиться от своего придирчиваго и злого сержанта.

Следую "за саблей-палашом" во двор, но он ведет меня ни к главному доро

там, а к задним, "черным", за которыми начинается кустарники. Мелькает мысль - заведет он меня туда, в пустырь, и зарубит своим тяжелым палашем....

Я быстро строю планы самозащиты и бегства. Покорно "предать себя на заклание", без сопротивления, да еще с глаза-на-глаз с одним японцем - я не намерен.

Подхожу к воротам, и я зорко слежу за каждым движением своего конвоира. Стараюсь быть как можно ближе к нему, что бы не дать ему должного расстояния для размаха и удара саблей. Но за воротами он сворачивает не к пустырю, а в направлении села. Я еще более внимательно всматриваюсь в его профиль лица замкнутого монгола и вдруг узнаю в своем предполагаемом палаче - старого знакомого лейтенанта Сано. Я радостно восклицаю по-французски:

"Лейтенант Сано!.. Сэ Ву?" /Лейтенант Сано!.. Да ведь это Вы?/ - Мой тон оказал свое действие. Он поворачивает ко мне голову и мягко, по восточному сдержанно, и немного по-детски, улыбается, но не говорит ни слова. Встречные солдаты останавливаются и отдают ему воинскую честь поклоном, сгибаясь от поясицы. Я с восхищением наблюдаю дисциплину в Японской армии, в которой есть больше патриархально-национального, ненарушаемого ни при каких обстоятельствах. Всякий начальник, офицер в особенности, для солдата является существом, облеченным высшей властью, и исполнение его приказаний является долгом как перед Родиной, или самим их Императором /Микадо/

Мы подошли к какой-то аннамитской хибарке. Сано приоткрыл дверь и, став в положение смиренно, почтительно козырнул кому-то внутри сидющему, произнес несколько коротких четких фраз. Я не вижу, кто там внутри, но мне хочется его видеть. Делаю шаг влево и, через стеклянную дверь, вижу двух, хорошо сложенных, японцев лет 30-35-ти каждому, сидящих совершенно голыми на кроватях с поджатыми под себя ногами. Тот, который был ближе ко мне - писал что-то на коленях. Он бросил взгляд на меня. Я отдал ему честь, на что он ответил вежливым поклоном, не спуская с меня глаз. Лейтенант Сано, видимо, доложил обо мне и стал рядом со мною в положение "смирно", ожидая ответ.

Очень скоро из комнаты вышел немолодой офицер, без кепи, с большой лысиной и с грубым некрасивым монгольским лицом. На плохом английском языке он очень недружелюбно крикнул мне, что он "не понимает ни по-французски, ни по-английски, ни по-русски, и приказал мне идти за ним.

Этот "монгол" определенно не понравился мне своим грубым, не интеллигентным лицом, и своим нескрываемым презрением ко мне, офицеру-европейцу. Кто он был по чину и по положению - я не знал.

Он отвел меня к зданию бывшего местного госпиталя, во дворе которого сидели солдаты и завтракали. Сдал меня им, "монгол" тот-час-же ушел. Солдаты рассматривают меня с насмешливым презрением. Стою возле них, не зная, что мне делать? Вдруг из здания вышли наши три легионера. Мне и радостно, что я уже не один среди толпы японцев, и очень стыдно перед легионерами, что я, офицер их полка - тоже в плену, да еще в таких унижительных условиях! Как-бы то ни было, но мне стало легче от сознания, что я уже не буду одиноким человеком, с презрительным отношением со стороны японцев, и что это не так тяжело будет переносить, когда есть с кем поделиться своими горестями и отвести душу.

Среди всех полков Иностранного Легиона, при очень суровой казарменной дисциплине - в личных взаимоотношениях существует традиция теплого товарищества и взаимной поддержки, когда разница в чинах и положений по службе - отходит на задний план, и остаются "люди", тесно связанные между собой бесчисленными нитями общей службы и жизни в этой оригинальной и, по-своему, интересной воинской формации во Французской армии. Вот так было и сейчас с нами.

Я стал спрашивать их об обстоятельствах, при которых они попали в плен. Оказалось, что "эти обстоятельства" делают им мало чести, как солдатам.

Все трое были немцы. Не хочу на этом останавливаться, но меня неприятно поразила их манера рассказа о своем полу-преступлении, ^{плонении} точно дело шло о совершенно нормальном явлении, со всеми некрасивыми подробностями, без тени смущения и сожаления. Я был бесконечно огорчен и как офицер вообще, и как офицер одной с ними части, в особенности Славного полка Легиона. Все они были рядовые солдаты 1-го батальона, который справедливо считался наилучшим в полку и на батальонном значке которого, был выгравирован заслуженный им девиз:

"ПРЕМЬЕР ПАР ТУ!" т.е. - "ПЕРВЫЙ ВСЮДУ!"

Об этих легионерах скажу потом, но сейчас, забыв все, здесь в плену - мы должны быть самыми близкими товарищами и помогать друг-другу во всем.

Как всегда, я внимательно осматриваю окружающую обстановку. Лазарета, как такового, нет. Стоят одни голые стены. Всюду расбросаны остатки "чего-то" разрушенного, разбитого, растоптанного. Во мне, подобные "следы" ушедших войск вызывают неприятное чувство. Но наши оставили здесь очень много медикаментов и целые корзины перевязочных средств и индивидуальных пакетов. Легионеры помогают японским солдатам "в сборах в поход" и чувствуют себя среди них довольно вольготно. Японцы дают мне рис и мясной приправой и я ем с удовольствием.

Японские солдаты уже позавтракали и быстро приготавливаются в путь. Все они делают поразительно быстро. Перед нами корзина в один метр длиной с "нашими" медикаментами. Смотрю и думаю с сожалением:

"Ну - зачем же наши оставили здесь столько медикаментов и перевязочных средств, в которых мы испытывали такую нужду? Если было тяжело взять все - то роздали бы легионерам! А то - бросили противнику!"

Японцы укладывают в эту корзину все, что попало. Даже сухой рис. Прочно перевязывают ее веревками и приказывают двум легионерам нести ее на бамбуковых палках, на плечах. Один из японцев "сует" мне в руки циновку, бутылку с недопитой местной водкой и корзинку с вареными яйцами. Я вынужден был взять все это, так как японский солдат сделал все это с таким решительным и безапелляционным видом, что мой отказ грозил бы неприятными осложнениями.

Возмущаясь поведением японского местного штаба, который не хочет считаться с моим офицерским званием и отдал меня в полное распоряжение своих солдат, как рядового. Мои легионеры со вздохом взглянули на тяжелую и громоздкую корзину с разными вещами в ней, многозначительно переглянулись, но ловко подняли ее и понесли. Это были рядовые: - Клеввер, лет 40-а, с 14-ю годами службы в Легионе, Линц. 38-ми лет с 10-ю годами службы и Вольф 24 лет с 6-ю годами службы. Все они сильные, крепкие парни.

Мне было очень совестно перед ними, перед своими легионерами - нести личные вещи какого-то японского солдата, в особенности его циновку и недопитую водку.

Неужели мы будем идти с японцами на фронт и обслуживать их в качестве рабочей силы? - думал я.

Мы идем в хвосте взвода. Он останавливается и выстраивается у квартиры главного начальника, где я был сегодня утром, с другими частями; получается свыше 200 солдат. Ждем не долго. И вот, появляется тот, который так настойчиво преследовал нас все эти прошлые дни - командующий действующими в этом направлении японскими силами, а сколько их - мы ни тогда, ни теперь - не знаем. И я узнаю в нем того "голого японца" на кровати, с которым я обменялся воинским приветствием.

Он молод, лет 35-ти. Красив и строен. В защитной форме и такого же цвета перчатках. При красивой большой тяжелой японской сабле-палаше, опущенной по-кавалерийски на длинной портупее. В гетрах и при шпорах. Саблю он поддерживает рукой очень ловко, видимо, в результате долголетней привычки. У него подкупающая, с первого взгляда, благородная и спокойная манера.

Раздается встречная команда. Офицеры обнажают свои сабли для салюта. Все вытянулись в струнку. Замерли. Мы, пленные, тоже. Начальник неторопливо, достойно своего положения, выходит на середину фронта, останавливается, четко козыряет и произносит короткую речь. Потом садится верхом на маленькую лошадь и ведет отряд куда-то. Мы гадали - куда идет отряд? оказывается - в тыл. Через три километра вошли в село, остановились, там убили одну свинью, разрезали ее на части, роздали солдатам и двинулись дальше по берегу реки. Скоро вошли в лес и там остановились. Солдаты немедленно же сбросили свои ранцы и быстро принялись готовить пищу. Потом разделись и с одними "передничками" бросились купаться, мыть белье, массировать друг друга, подлечивать ссадины. Мои legionеры, получив рис и свинину на нас 4-х готовили обед. Я сидел одиноко на траве в полном безделье. Вдруг, по команде, кем то поданой - голые солдаты быстро вскочили на ноги, вытянулись "смирно" и взяли под-козырек. Они купались и сидели в своих кепках на голове. Встали и мы. Это проходил меж солдат лейтенант Сано. Он молча прошел через расбросанную толпу, спокойно отводя на приветствия легким, но четким, прикосновением руки к своему головному убору и остановился у пролеса. Пользуясь случаем - подхожу к нему, салютую и прошу разрешения скупаться в реке. Объясняю больше жестами, т.к. он не говорит по-французски. Он охотно позволил, но выражение его лица было строго официально и непроницаемо.

Я иду к реке, но не раздеваюсь совсем. Остаюсь в своих отчаянно грязных бриджах. Я боюсь обнаружить перед купающимися вокруг японскими солдатами свое "потасное место", где спрятаны все дороги мне вещи. И я прав в своей осторожности. Не успел я вынуть свой маленький, и единственный у меня, кусочек мыла величиной в два пальца - как они с криком - "сапонка! сапонка!" / мыло! мыло! / кидаются ко мне и просят дать его им. Я очень огорчен т.к. это было все, что я имел для мытья и чистки зубов; что для меня особенно важно еще - это стирать мой носовой платок, единственный у меня, служащий и полотенцем. И напрасно я указываю им, что кусочек очень мал! Но они просят, но не отнимают. Что бы спасти хотя бы часть его - ломаю пополам, одну половину отдаю, а другую крепко зажимаю в кулаке. Они удовлетворенно, как то по-детски улыбаются, снадят зубы и так же быстро разбегаются от меня, как и сбегались. Мы, как солдаты - поняли друг друга.

Снимаю с себя фуфайку и рубашку. Это все мое личное белье. И на рубашке обнаруживаю пятно запекшейся крови ладони в две ширины и несколько маленьких кружков вокруг. Теперь я понял, что был ранен осколками каменной от разорвавшейся гранаты японцев, но не самими снарядами, его осколками.

Я не хочу, что бы о моем ранении знали японцы. Я опасаясь, что это доказательство моего активного участия в боях против них, может вызвать их озлобление. Прощупав раненое место - осторожно вымыл его.

Освежившись холодной водой, я сразу же почувствовал себя лучше и физически и морально. На душе стало, как-то радостней и свежее в организме. Вымыл рубашку и повесил сушиться, а фуфайку одел прямо на голое тело. В таком виде сижу около своих вещей.

Один из legionеров следит за нашим супом, а двое других лежат поодаль. Поджарый японец в очках, с кусочком ярко-красной шелковой материи на голом теле, на бедрах, проходит мимо меня и подсаживается к legionерам. Он разговаривает с ними по-немецки. Узнаю от одного из японских солдат, что это есть бсталионный прах.

Они разговаривают, а я погружился в свои унылые думы. Японские солдаты, проходя мимо, останавливаются и, с неприятным для меня любопытством, рассматривают мои скудные вещи: - гетры, обе полевые сумки и, даже, мой франко-русский словарь, в котором ничего не понимают. Некоторые безцеремонно примеряют себе на ноги мои желтые гетры и, что то, очень внимательно вертят в руках мою маленькую кожаную "из Индии" сумочку для словаря. Я вижу, что все это им очень нравится и, быть может, пригодится им в походе. Но я знаю

так же, что они все это могут отобрать у меня в любую минуту. Но я знаю хорошо, что при своих офицерах, они никогда не посмеют этого сделать. Я знаю еще одно важное для меня, что если они отберут у меня хоть что-нибудь из моих вещей - я буду терпеть большие неудобства в будущем. Особенно обувь, сохранение которой теперь, в плену - будет вопросом моей жизни. Если у меня не будет обуви -- я не смогу идти, и тогда они разве проявят милосердие к пленному, будь то, даже, офицер? К тому же, я вижу, что и их обувь не лучше моей.. У некоторых солдат подошвы подвязаны проволокой, что является наглядным показателем их нужды. Поэтому, в случае "натиска", я решил всеми силами отстаивать "свое имущество". Кстати, присутствие здесь доктора, а там, за кустами, лейтенанта Сано - дают мне достаточно смелости. И я, короткими и энергичными жестами, поясняю, что все это "мое", и оно "нужно мне самому". Отстоял... Но - как все это было тошно, нудно и противно, выдерживать подобную борьбу из-за дрянных старых вещей!

Доктор, наговорившись с legionерами-немцами - подходит ко мне и молча усаживается напротив. Я догадываюсь, что мои legionеры, безусловно, рассказали ему обо мне, что я бывший русский офицер. И я понимаю, что доктору хочется поговорить со мною. Legionеры сказали, что он не говорит по-французски. Он сел, смотрит на меня и молчит. беру инициативу и спрашиваю его по-английски:

"Ар ю доктор?" /Вы доктор?/.

"Ес", отвечает он мягко, скромно улыбаясь. И мы с ним "разговорились"... Он знает всего несколько слов по-английски, я знаю этот язык, так же, плохо, но против него, в сравнении с ним, отлично.

Он подтверждает мои подозрения, что от legionеров - он уже все знает обо мне - кто я? Я задаю ему много вопросов, но он очень сдержан, и я не настаиваю на ответах, опасаясь вызвать в его душе подозрение. В общем, выражался с некоторым преувеличением - "мы подружились".

Доктор очень скромн и воспитан. Его восхищает, что я говорю на трех языках. Я внутренне улыбаюсь, но не хочу перед ним сознаться, что и по-английски и по-французски - я говорю плохо. Но меня удивляет, что он, батальонный доктор, лейтенант, прожив два года во Французской колонии - он не знает французского языка. Он выражает желание брать у меня уроки "вражеского" языка и мы тут же начинаем - "первый урок".

Он никак не может выговорить слово "Бон жур" /Добрый день/, а произносит "Бонь джур" и мы оба улыбаемся на это. И для меня этот обмен улыбками, является целительным и необходимым бальзамом, принимая во внимание мое угнетенное состояние духа "пленника", да еще пленника азиатской армии.

В это время к нам подошел, улыбаясь как старому знакомому, донщик лейтенанта Сано и вернул от его имени мои две записные книжечки, отобранные им в тот момент, когда я попал к ним. Наверное там искали "военных секретов", но не нашли. Я был очень рад этому, т.к. книжечки мне были очень нужны. В них были заметки о нашем походе, а несколько дней спустя, я сделал в одной из них, между писанных строк, кроки нашего последнего боя.

Японские солдаты очень любопытны, умно любопытны. Во все время нашего разговора с доктором - они зорко следили за нами, точно желая отгадать: - о чем их батальонный доктор может говорить с пленным офицером? Поэтому, когда доктор ушел и я пошел посмотреть на свою сохнувшую рубашку - ко мне вдруг обратился один японский солдат по-английски, очень бегло, с американским выговором:

"Почему Вы одели шерстяную фуфайку прямо на голое тело?"

"Потому, что у меня нет другой", отвечаю ему. "А потом - эта фуфайка не шерстяная, а нитяная, и в ней не жарко" - с большим удовольствием ответил я. Его товарищи слушали нас с открытыми ртами и, по-детски, весело ослаби-

лись, услышав перевод моего ответа. Мы с ним разговорились. Оказывается, он проживал в Америке, в Сан Франциско, 14 лет и сильно американизировался. Я был очень обрадован таким полезным для меня знакомством, т.к. это открывало мне возможность обясниться с теперешними "властителями моей судьбы", с японскими офицерами. Мне нужно было сказать им, что я являюсь объектом слишком большого внимания для их солдат, которые, все эти дни моего плена, безцеремонно досаждают меня своими обысками, разглядыванием моих вещей и попыткой отобрать их у меня; и просить оградить меня от этих назойливых и оскорбительных приставаний. Тем более, что я и так лишен всего самого необходимого.

Я очень люблю изучать все новое, а изучать совершенно неведомую доселе Японскую армию - представляло для меня громадный захватывающий интерес. И если "это изучение" происходило в крайне трудных и опасных, для меня лично, условиях - зато я имел возможность видеть ее такой, какой она есть, без всяких прикрас, можно сказать - "голенькой", когда трудно что-бы то ни было скрыть от глаз опытного наблюдателя. Кстати сказать, я никак не мог понять: - почему, несмотря на то, что японская армия вот уже четыре года назад как вошла в Индо-Китай, при том насильственно - что у французского командования никогда не было сомнений о неизбежности, рано или поздно, вооруженного конфликта - оно ни разу у нас в Легионе не сделало ни одного доклада-освещения ни об организации Японской армии, ни о ее тактике, ни о духе ее солдат и офицеров? Никто не только что из легионеров, но никто и из офицеров не имели ни малейшего представления о своем, более чем вероятном противнике! И мы вступили с нею в борьбу "в слепую". И теперь, как бы мимоходом, как бы "к слову" говоря - я задаю вопросы этому японскому солдату, бойному старшему унтер-офицеру, которому свыше 25-ти от роду, и голами он старше своих товарищей. У которого взгляд на вещи чисто американский. И узнаю - жалованье солдатам недостаточное, что все они холосты и женатых среди них не более 5%; что в Индо-Китае они уже три года и что все сильно скучают "по-дому"; что отпуска на Родину запрещены, а в город отпускают не чаще как один раз в две недели.

Разсказав кое-что о себе - он вдруг огорашивает меня вопросом:

"А правда-ли, что Вы есть офицер Русской Императорской Армии?"

Откуда он знает это - я не спросил, но на его вопрос, ответил утвердительно. Он тут-же перевел мой ответ своим товарищам, или подчиненным - не знаю - и те, с полуоткрытыми ртами, с еще большим вниманием, смотрели на меня и улыбались совсем не злыми уж улыбками.

"Русский" - их очень подкупило. Я почувствовал, что моя принадлежность к Российскому Государству - вызывает у них симпатию. При этом я испытал большую радость и, вместе с тем, гордость за свое Великое Отечество.

На некоторые мои вопросы о том, что мне было не понятно о порядках в их армии - он не ответил, видимо, посчитав мои вопросы "нескромными". Я не настаивал, боясь вызвать у него впечатление, что я "разведываю". Мне хотелось сохранить добрые взаимоотношения с единственным человеком, с которым я мог бы разговаривать, и через которого мог бы сноситься с его начальниками.

От него я узнал, что мы, пленники, находимся при "сборной роте" от всего батальона, которая в составе 15-ри офицеров и 220 унтер-офицеров и солдат - идет на отдых в Ханой. При роте имеются пулеметы, бомбометы и два горных орудия, которых тащить на лямках сами солдаты. С этой ротой возвращается и командир того батальона, который только один преследовал нас все это время. Все они очень рады предстоящему отдыху, т.к. сильно устали и им здесь очень скучно.

На мою жалобу, что солдаты слишком часто меня обыскивают и пытаются отобрать некоторые вещи - он промолчал. И я понял, что он сам "из таких", а причина этому - слишком малое жалованье солдатских, толкающее его "охо-

титься за военной добычей".

-Со мною он держал себя совершенно по-европейски. И странно - когда он говорил по-английски - выражение его некрасивого лица и глаз, теряли свою азиатскую неподвижность и непроницаемость и становились, как бы, интеллигентными. Да и сам я говорил с ним не так, как с другими японскими солдатами, а как с европейцем. Говорил и думал: - как влияют условия и обстановка жизни на человека! и как изменили они моего собеседника по сравнению с его товарищами-азиатами, в других странах не живших!

Почувствовав, что я уже достаточно расположил его к себе - задаю вопрос:

"А как Вы питались в Сан Франциско? на японский, или на американский манер?"

"Конечно, на американский!" с каким-то восхищением и весело восклицает он. И добавляет, смакуя: - "шоколад, какао, кекс, стэк"...и в его голосе чувствуется нотка сожаления, как о чем-то дорогом, интересном и потеряном, может-быть навсегда...

"Но как только кончится война - я вновь поеду туда!" закончил он через несколько минут задумчивого молчания, но без слишком большой уверенности в исполнении своих затаенных желаний, - вернуться в благодатную Америку.

Я не знал, я не видел себя в зеркале - какой у меня вид? Уже около месяца я не брился, спал не раздеваясь и весь костюм мой был в плачевном состоянии, в особенности обувь. Когда он спросил сколько мне лет? и я ответил - 52 - они долго хохотали. Это меня несколько смутило.

Разговор закончился. Итак - мы идем в Ханой, в столицу всего Индо-Китая. До него 500 километров.

Я отдаю себе полный отчет, что нас, пленных, во время этого перехода, ждет много физических лишений и моральных ударов; что рассчитывать нужно только на самого себя, на свои физические силы, на моральную твердость и на свои интеллектуальные качества. В случае какой-бы то ни было "неустойки" - в том и другом случае - ни на какую "милость и жалость", ни на какое "снисхождение" со стороны японцев - надеяться нельзя.

Надо было во что-бы то ни стало сохранить в порядке, на все время долгого похода, три элемента: - 1. Трезвый разум и хладнокровие. 2. Ноги и обувь. 3. Желудок, как основу здоровья. Болезнь же в походе - равносильна гибели.

На холодную трезвость своей головы я надеюсь твердо. На ноги - тоже. За желудком я буду следить - не обедаться и не злоупотреблять водой при утолении жажды. Все это зависело от меня, от силы моего характера. Но обувь!...

Мои казенные ботинки "на гвоздях" были в печальном состоянии. Подошва потрескалась. Крепки были ее части у носков, да каблуки. Гвозди там были целы, но середина держалась только стелькой. Я внимательно изучил свои ботинки и пришел к грустному выводу, что пятисот-километровый переход они не выдержат. И только предельная осторожность в ходьбе, может спасти меня от перспективы "отстать", т.е. быть, несомненно, "приконченным японцами".

Мои казенные чулки были в невообразимом состоянии - черны от грязи и с совершенно протертыми пятками. Приходится комбинировать их со всякими тряпками, лохмотья которых торчат на стыке ботинок с гетрами и придают мне вид форменного бродяги... Офицерский мундир не скрашивает положения. Бриджи и френч, от пота и грязи, приняли темно-сизую окраску с бесчисленными грязными пятнами. А на спине, следы просочившейся застывшей крови от раны. Горе и убожество сквозило через все мои дыры....

Сборная рота провела весь день в лесу, в совершенно дикой обстановке.

Она скрывалась от американской авиации, находившейся в Чункине, при Ставке Китайского фельдмаршала Чай-Кай-Шека. Несмотря на приятные разговоры с американским японцем и на непрерывные пререкания с пристыжими солдатами, для меня этот солнечный день тянулся томительно долго. Для активного человека, полная неизвестность того, что вокруг тебя делается, полная зависимость во всех поступках от чужой воли - являются невыносимо-мучительными. Он чувствует себя на положении пассивного животного, в то время как все его существо требует от него каких-то действий.

Что бы убить время и найти выход давящей "из нутра" энергии, что бы найти способ хоть как-нибудь объясниться с окружающими меня японскими солдатами - я решил изучать японский язык. Обратился с этим своим желанием к ставшему уже "добрым знакомым" американизированному сержанту Ботанаби - такова была его фамилия. Он охотно согласился. Нас немедленно же окружили солдаты. Моя способность довольно быстро запоминать несколько слов и пустить их тут-же в оборот - произвела среди них сенсацию и сразу же подняла мой авторитет. К тому же, мой учитель то и дело обращался к своим солдатам и что то им поворил обо мне, все время бросая на меня быстрые и острые взгляды. Иногда он прерывает "урок", что бы задать мне какой-нибудь новый, относящийся ко мне лично, вопрос и тут-же переводит мой ответ окружающей "аудитории", следящей за всем происходящим с жадным интересом, я сказал бы, "детей природы", если бы они не были так элы и жестоки.

Так провел я время до самого вечера. Мои legionеры, после еды, непробудно спали.

Наконец быстрые сборы в поход. К моему удивлению, и оторчению, рота вернулась назад в то село, где утром зарезали свинью для еды.

Расположились на ночлег в тесных хижинах, на грязном полу, по-взводно и очень скучно. Нам, пленным, отвели маленький уголок позади себя и подальше от дверей. Конечно - самый грязный, с дырами в голом бамбуковом полу, никогда не чищенном. Это было что то, в роде, кладовки у аннамитов.

Холодная ночь прошла для меня в мрачных думах о своем положении униженного пленника. Спал вповалку со своими legionерами. Японцы, сытно поевши в лесу, освободившиеся купанием в реке и отдыхом под деревьями - очень скоро уснули около своих костров, разведенных тут же, на больших мостных жаровнях.

Настало утро 6 апреля. Нам дали что то поесть, а потом обычно быстрое выступление в поход.

Вчера вечером я слышал, как какой-то сержант отдавал своим подчиненным распоряжение, видимо, насчет сегодняшнего похода. Он "рубил" своим скрипучим голосом какие-то короткия фразы. Все слушали его с полным молчанием и только некоторые, повидимому, подчиненные сержанты - довольно часто отвечали подтверждающим односложным словом - ХЭЙ!. А сегодня, рано по-утру, кто-то крикнул только одно слово и все солдаты моментально проснулись и немедленно стали приводить себя в порядок и готовиться к маршу, не дожидаясь никаких новых распоряжений. Наши legionеры, как всегда, замедлились, но окрик сержанта и легкий "подзатыльник" сразу же привел их к быстроте. Их нагрузили той-же тяжелой корзиной. Я несу котелок вареного риса на насчет четырех, бидон воды и маленькую корзинку с чем-то. Циновка мною брошена. Брошена и пустая бутылка от водки. Это меня облегчило и избавило от унижения нести "предметы роскоши" для рядовых японских солдат. Но надобно отдать должное японской любезности: - вчера нам ими было предложено по глотку водки. И водка была превосходного качества.

Как потом я убедился - японские солдаты очень любят "выпить", но умеру, и только во время еды. И пьют скромно и открыто. Они, потом, всегда приглашали нас. Я выпивал, из вежливости, один глоток, но мои legionеры часто сами

"клянчили" у них выпивку, и я заметил, что это производило на японцев отталкивающее впечатление, и они, порою, очень грубо и брезгливо отказывали.

Сегодня мне довелось снова видеть церемонию встречи начальников. Японцы собираются и выстраиваются поразительно быстро. Начальники коротко, гортанно командуют "на-краул!" Офицеры салютуют палками. Это очень своеобразная воинская "церемония встречи". Наряду с очень отчетливым отдаче честью оружием — подчиненные делают своему начальнику гражданский поклон, бросая вперед свое туловище от пояса, наклонив голову и потупив взор, в знак почтения и подчинения.

Было еще темно, когда мы выступили. Солдаты шли быстро и молча. Только наши легионеры безцеремонно переругивались между собой по-немецки, раздражаемые тяжестью своей неудобной ноши.

Я иду молча, рядом с ними и мы четыре европейских солдата, выделяемся режущим взгляд пятном на фоне идущих густым строем азиатских солдат.

Бросается в глаза наш рост, наши белые лица и безобразно отросшие щетиновые бороды. То и дело по пути попадают разрушенные нашими войсками мосты. Это сильно задерживает движение громоздкой роты. Людям приходится "по-одному" перебираться по качающимся уцелевшим бревнам. Я стараюсь проделать переправу как можно скорее и быстро выбраться из толпы явно озлобленных японских солдат, видящих в нас "виновников" всех этих неудобств. Легионеры же, нагруженные тяжелой и неудобной корзиной — с трудом преодолевают эти препятствия и, вместо того, что бы выбраться поживее из гущи раздраженных и ворчащих на них солдат — они мешкают, мямлят, ругаются между собой громкими пререканиями и несмолкаемой болтовней. На их лицах я читаю усталость и явный страх перед японцами.

В одном месте они задержали движение и конвоир грубо закричал на них а потом, для внушения, очень сильно ткнул одного легионера кулаком в бок. К моему удивлению — легионеры сразу же замолкли, прибавили шагу и на некоторое время прекратили свои нескончаемые громкие разговоры.

Я иду в середине колонны и изучаю марш японцев. Они шагают спокойно и молчаливо-деловито. Все они, включая и офицеров — молоды. Все без усов и с коротко стриженными волосами на головах. На всех лицах написано слепое покаяние своим начальникам. Удивляет полное отсутствие в роте лошадей. На всю роту только 4 лошади под тяжелыми пулеметами. Два уродливых бомбомета на колесах — тащат на лямках два сильных солдата. Верховные лошади только у командира батальона, капитана Намеки, да у того "монгола", который отнесся ко мне так недружелюбно. Обогнал меня на походе — он бросил, как мне показалось, злорадно-враждебный взгляд, дескать: — "Попался, голубчик! погоди!... мы с тобою еще поговорим!"

Вообще — я чувствую презрение и ненависть, с которыми относятся к нам японцы в массе. Мы для них люди не только что другой расы, но и расы "низшей", которая незаконно претендует на положение "высшее", и которую следует всю уничтожить... а пока, до поры и до времени — ее надо как можно сильнее ущемить и поставить на должное место. Во время движения, они, как будто, не обращали на нас никакого внимания, но как то раз, мы попали на марше в их гущу — раздались со всех сторон презрительное фырканье и на нас устремились такие злобные взгляды, что я ждал каждую секунду толчка в бок, пинка в спину или удара по голове.

Офицеры были одеты точно так же, как и солдаты. И были также отрепаны и грязны, но общий вид был подбористый. Все офицеры были при саблях и револьверах; имели бинокли системы "Цейса" и часы. При офицерах было все, что требуется для боя. У всех большие полевые сумки с бумагами и папиросами.

Большой привал в большом селе, покинутом жителями-аннамитами. Идет "охота" за драматическими свиньями на обход. Мои legionеры тоже принимают в ней живейшее участие. Они любят поесть, поспать и, в особенности, выпить. Legionер Клеввер, как старший и летами, и сроком службы и, вообще, умный и распорядительный - он, естественно, стал старшиной среди двух своих соплеменников-Немцев. С темной густой бородой - он производил приятное впечатление. С японскими солдатами он говорил по-французски, словно они его понимали, или должны понимать. В хозяйственных вопросах, жестикулируя руками перед старшим санитарной командой, унылым и серьезным худощавым японцем, которому мы были подчинены во внутренней жизни - он внушал ему доверие и понимание - что он, Клеввер, хочет и тот ему верил, поручая что-либо.

Legionер Линг, с густой рыже-огненной бородой, был полная тупица, и любил выпить и поспать. Он слушался Клеввера безприкословно.

Legionер Вольф, 26-летний парень, так же с густой, но русой и кривой бородой - был флегма и лентяй; любил поесть и всласть поспать. Вот они и пошли в помощь японцам убить свиней, что бы потом хорошо поесть и поспать.

Замечательно следующее: - наши legionеры убивали домашних крестьянских свиней, конечно, без разрешения хозяев, просто - пулей из карабинов, а японцы убивали палками, вручную, жалея патроны. Все у них было иначе, чем у нас в Legionе.

Я сижу один в хижине-сарайе, довольный возможностью остаться в одиночестве и привести в порядок свои невеселые думы. От них изнемогает душа. Сильно хочется есть. Укладываюсь на дырявом бамбуковом полу, подложив все свои вещи под голову, что бы предохранить их от "незаметной реквизиции". Подходит солдат-японец и даст мне десяток кусочков сырой свинины, общим весом более фунта.

"Ари-га-то, Сан" /Спасибо господин/, благодаря его по-японски. Обращение "Сан" - у них считается необходимым приложением, как знак вежливости, к кому-бы не обратился.

Японец с добродушным удивлением смотрит на меня и с видимым удовлетворением - уходит.

Немедленно-ж нанизываю кусочки мяса на тонкую бамбуковую палочку и поджариваю на костре как кавказский шашлык. Запах жареной жирной свинины приятно шкочет обоняние и еще больше разжигает аппетит. Мне кажется, что я ем больше, чем получил, но я позволяю себе съесть только три кусочка и остальное отложил для своих legionеров. Но они принесли большой кусок свинины, как рацион для нас 4-х и мы в этот раз плотно пообедали.

После еды сон. Legionеры подстилают для себя единственное на троих одеяло и собираются ложиться, как какой то сержант, высокий и худощавый, видимо метис, быстро подходит к нам и властным движением, недопуская никаких возражений - сдергивает одеяло с пола, уносит к себе и вольготно располагает на нем на наших же глазах. Мы были возмущены до края, но и это раз убедились в своем полном беззаконии и беззащитности.

В 15 часов этого же дня - выступили дальше. Теперь рота идет небольшими группами, соблюдая строгую дистанцию, на случай внезапного налета американской авиации.

К вечеру расположились на ночлег в следующем селе, но под открытым небом. Запыхали костры. Японцы относились к имуществу мирных жителей-аннамитов с такой же безцеремонностью, как и наши legionеры. Хотя села были оставлены жителями, но все же, так щедро жечь все, что горит на огне - преступно. Горе жителям брошенных сел....

Ночь была сырая и холодная. Я не мог заснуть от холода. У legionеров

были толстые шерстяные фуфайки с рукавами и подобранное с пола, после отдыха сержанта, их теплое толстое одеяло. Они тесно прижались друг к другу и, как всегда, крепко спали. Холод победил мою осторожность перед японцами. Я подобрался к ближайшему костру и лег между ними, протянув ноги к огню. Теплота сразу же распространилась по всему телу и я крепко заснул на те несколько часов, которые оставались до утреннего подъема.

Мы были очень голодны. Вечером, какой-то солдат, дерзко вырвал из рук legionера Войта наш котелок с несколькими кусочками тушеной свинины и не вернул его. Мы остались без ужина.

Вот и утро 7-го апреля. Выступаем, как обычно, до зари, с той же быстротой снявшись с бивака. Я тщательно слежу за обувью, аккуратно "пригоняю" свой багаж и стараюсь "не перегружать" желудок. Сосредоточенно молчаливый иду ровным крупным шагом чуть сзади legionеров. Они терпеливо несут на перекладине свою корзину, ставшую еще тяжелее, т.к. японцы, по праву сильного, положили туда и свои личные вещи. Мне очень жаль их, но... чем я могу им помочь?

Мы приближаемся к тому месту, где я попал в плен. Сердце начинает учащенно биться. Панорама зигзагообразной дороги снова предстала предо мною как на ладони и я, в своем воображении, рисую картину нашего отступления в роковой для меня день 2-го апреля. Снова душу гложет позднее сожаление: - "Ах! почему мы не заняли эту, почти неприступную, позицию, а остановились на первом перевале, таком неудобном для обороны?!" Вот в чем причина всей катастрофы!"

Но рота, не задерживаясь, спускается к разрушенным мостам, из-за которых я попал в свое теперешнее положение.

Острым взглядом исследую тот крутой берег, на который я тогда не мог выбраться; и прикидываю на-глаз "свой путь к спасению" по зарослям, который теперь сверху так хорошо виден. Да, я был тогда в таких дебрях и в такой пропасти, где смело мог скрываться любой хищный зверь крупных пород, которых отсюда никак невозможно обнаружить человеку.

Мы переходим старый мост. Японские солдаты балансируют по двум бревнам, и пересмеиваются, дескать - по ним трудно переходить речку! Трудно идти противника?

На 34-м километре "малый привал". Я сижу с legionерами и, опершись на руку, задумался. Вдоль дороги, держась вместе и не расходясь в стороны, отлынивают японские солдаты. Я настолько погрузился в свои невеселые думы, что не заметил, как к нам подошла группа японских офицеров. И вдруг я слышу голос позади себя:

"Очень хорошо!" - произнесенное с очень мягким оттенком, но совершенно ясно по-русски. Быстро поднимаю голову и вижу группу офицеров /судя по саблям/ и среди них красивого молодого капитана, командира батальона. Это он обратился ко мне по-русски и, сейчас, приветливо улыбается. Улыбаются и все его спутники. Я быстро поднимаюсь на ноги и, взяв руку под козырек, отвечаю в тон:

"Очень не-хо-ро-шо!"

"Очень хорошо!" снова повторяет он, мило улыбаясь.

"Вы говорите по-русски?" с жаром и радостью спрашиваю его.

"Ай ду нот спик рошшиян" /Я не говорю по-русски/, отвечает он мне по-английски. Его офицеры сдержанно улыбаются. Среди них и тот "монгол", который был так не любезен со мною три дня тому назад.

Он тоже улыбается и его лицо, на этот раз, мне кажется, совсем не злым а, даже, - по своему симпатичным.

Капитан позывает "японца из Сан Франциско" и через него спрашивает подробности боя 2-го апреля, начавшегося как раз на том месте, где мы сейчас стоим.

Разговор проходит в мирном тоне, как и предполагается между офицерами. И это уже не были "лютые враги", кроваваджинне японцы, а были профессионально-военные.

Мой военный и китайский опыт помог мне сразу отгадать психологическую настроенность моих собеседников и взять верный тон. В основном - военная среда всех стран и наций - одинакова. Можно быть жестоким без всякого милосердия к противнику в бою, и это же время, можно и должно, быть рыцарски обходительным с побежденным противником после боя. Эти противоположные два полюса особенно резко подчеркнуты в психологии японского кадрового офицерства. В данном случае - они спрашивали меня, выслушивали мои ответы и сами сообщали мне некоторые детали боя с величайшим вниманием и полнейшей корректностью, безо всякого и намека, как иронии, над "побежденным", а наоборот - с явной симпатией и расположением к такому же как и они офицеру, хотя бы и пленнику.

Из разговора выяснилось, что 2-го апреля, боем руководил непосредственно сам командир батальона, капитан Намеки /который теперь стоял передо мной/, находясь при головном пулемете и миномете всего лишь с несколькими своими "солдатами далеко впереди своего батальона. И это он "сбил" нас с позиций, и так настойчиво преследовал своим огнем.

Желая смягчить неловкость нашего тогдашнего поражения - я быстро вернулся к капитану -

"Со-ит нос ю гу шот эт ос?" /Так, значит, это Вы тогда стреляли по нас?, спросил я по-английски и с шутивым упреком - погрозил ему пальцем.

Такое мое экстравагантное выступление по адресу командующего всеми японскими силами в данном районе, в руках которого было в любой момент решить вопрос о моей жизни - произвело необычайный эффект. Все окружающие, даже и солдаты, разразились громким смехом. И громче всех смеялся сам капитан Намеки, который летами был моложе меня лет на 20.

Мой расчет оказался правильным. Я почувствовал, что "лед сложен". Лица японских офицеров и солдат перестали мне казаться такими злыми, как раньше. Все они были, ведь, солдатами, делающими свое дело и выполняющими свой священный долг перед своей Родиной.

Конечно - за мной стояло мое Великое Отечество Россия, внушавшее к себе уважение и, даже, страх всем японцам. И доля этих чувств распространялась и на меня. Это давало мне право говорить так непринужденно с ним, даже будучи пленником.

Здесь же я был подвергнут легкому допросу, который не носил официального характера, а вошел в форму частного разговора между людьми, как бы, только что познакоившимися. Я ответил через переводчика капитану Намеки, что в прошлом - я офицер Русской Императорской армии и участник "Белой армии". О своем чине и бывшей должности умолчал. Да он меня и не спрашивал. Конечно, "новый доктор-ученик французского языка", явно подготовил почву перед своим капитаном для встречи со мной, которая и состоялась.

Привал окончен и рота двигается дальше. Я еще раз окидываю взглядом зигзаги дороги, по которой мы бежали. Во дворе я заметил следы крови. Видно, наши потери были более тяжелые, чем я предполагал.

Снова меня охватило ощущение какой-то невозвратной потери. Настроение мое падает и, под вновь нахлунувшиеся печальные мысли, спускаюсь к селу у реки, где назначен большой привал.

Рота расположилась в лесу, разбившись на мелкие группы, что бы не привлекать внимание американской авиации. Солдаты немедленно же приступили к варке пищи. У нас, пленных, нет мяса. Мы очень голодны. С завистью смотрю как неподалеку, группа японских офицеров уселась на пухля ввропейския одеяла, и тот-час стала есть, почтительно и внимательно обслуживаемая своими преданными деньщиками.

Иду к речке, освежить ноги, забота о которых, стоит у меня на первом месте. Японские солдаты очищают свои котелки и промывают рис для варки. Вижу на траве только что выброшенный большой ком вареного риса. Безумный голод после суточного поста и утомительного перехода, охватывает меня. Я не могу сдержать себя и спрашиваю жестами у ближайшего солдата разрешения взять его. Тот разрешает, я хватаю его, споласкиваю в ручейке и с волчьей жадностью съедаю все. А с,ев - выпадаю в раскаяние. Мне становится стыдно перед японскими солдатами, особенно перед тем, который выбросил этот рис и так нелюбезно разрешил его взять - что я, французский офицер, унижился до того, что бы есть их "обедки". И напрасно я успокаиваю сам себя: - "А не все-ли равно - выброшенный-ли он, подаренный-ли, приготовленный-ли мною самим, или, даже, украденный?... самое главное то, что я утолил голод."

После обеда весь бивак спит. Шумно храпят и мои легионеры-немцы. Они могут спать без конца и при всех обстоятельствах. Но я заснуть не могу...

К вечеру двинулись дальше через знакомые места. Тогда, при отходе, они промелькнули перед нами как малозначущая декорация нашей повседневной военной жизни в походе, а теперь, связанные с ними воспоминания, вызывают у меня невыносимую тоску о потеряном для меня "мире", который, может быть, никогда уж больше не вернется...

Вот вершина перевальчика на 29-м километре, словно ворота, пробитые в горном кряже. Вот здесь ночью стоял наш пулемет, а я ночью проверял посты и угощал часовых папиросами. За ним дорога круто спускается к мостику, куда наши легионеры ходили "по-воду"...

Был уже вечер, когда капитан Намеки внезапно остановился, слез с коня и взял пакет, от откуда-то появившагося "типа" полу-европейского сложения тела и лица, приподнесшего ему с почтительным японским поклоном. Последовала команда "всем остановиться", и рота, в густой колонне, расположилась на отдых прямо на дороге. Солдаты привалились немедленно-же есть из своих запасов, а у нас пленников - опять ничего нет.

Последовал приказ развести огни и расположиться на ночлег. Офицеры сидят вкругу недалеко от нас, читают содержание в пакете и сдержано обсуждают.

Я наблюдаю интересную картину. Несмотря на то, что мы в дикой обстановке джунглей - церемония "представления" новоприбывшаго "типа" остальным офицерам - производится пунктуально. Он в полу-военном защитном костюме, в бриджах и гетрах - отчетливо берет под-козырек перед группой офицеров. "Мой монгол", как старший после капитана - быстрым движением встает на ноги и с вытянутыми по-швам руками /он был без кепи/ - делает глубокий японский поклон. Японцы не подают руки и ограничиваются глубоким прямым наклоном всего туловища от поясницы.

Когда стемнел - к нашему костру подошла вся группа офицеров и новоприбывший. Я внимательно рассматриваю его, желая отгадать - кто он? По моему - он полу-испанец, или, что-то в этом роде. Он выше среднего роста.

Чисто европейского телосложения, с зачесанными назад густыми черными волосами, сухим смуглым лицом, прямым носом и правильно прорезанными глазами. Но садится он у костра по-восточному, поджав под себя ноги привычно. От сержанта из Сан-Франциско узнаю, что прибыл "переводчик" и привез из Ханоя какие-то важные распоряжения от генерала.

Переводчик быстро говорит с офицерами, видимо, делясь с ними столичными новостями. Изредка он бросает испытывающие взгляды на меня.

"Ки Ву зэт?" /Кто Вы?/ - вдруг, и неожиданно для меня, обращается он ко мне на чистейшем французском языке.

"Оффисье дэ л'Армэ Франсэз" /Офицер Французской армии/, отвечаю ему.

"Вы русский?" допытывается он. Разговор идет по-французски. Он тут-же переводит каждую фразу капитану. Все офицеры молча слушают.

"Какой чин Вы имели в Русской армии? - спрашивает

"Выше Лейтенанта", уклончиво отвечаю.

"Но какой?... Капитан?... Командан?" - уточняет он.

Что бы покончить с этим вопросом - я коротко отвечаю:

"В чине полковника командовал казачьим полком".

Его перевод очень внимательно слушают не только что офицеры, но и ближайшие солдаты, которые всегда так любознательны ко всему.

Услышав это - они хором издают свое удивление, гортанным - "О-о-а!..". и с напряженным вниманием впииваются взглядами в мои глаза. Все происходит сидя на земле, вокруг костра. Сиджу и я.

Перекинувшись несколькими фразами - он допытывается:

"Эт Ву козак?" /Вы есть казак?/

"Казак!" - вторю ему.

"Наб-сан-ка?" протянули многие удивленно. "Сапайкаль"? /т.е. - Забайкальский?/

"Кавказский!" поясняю.

"Ааоо... Кауказус?" - протянули почти все хором и снова вперились в меня глазами, словно исследуя - "каковы это казаки с Кавказа?"

Они знали только Забайкальских казаков с желтыми лампасами и многие из них с полу-монгольским лицом, а о Кавказских, т.е. о Кубанских и Терских казаках, видимо, только слышали, но никогда не видели их, почему и заинтересовались так.

"Почему Вы, русский офицер, поступили во Французскую армию?" спокойно спрашивает он.

Я объяснил военно-политическую обстановку осенью 1939 года, подчеркивая противоестественный союз Нацистской Германии с коммунистической советской Россией, который побудил меня, офицера Союзной армии Великой войны 1914-18 гг. - по чувству долга - искать себе место "В Стане старых союзников".

Он внимательно меня выслушал и долго переводил капитану мой ответ.

Все офицеры слушали его в полном молчании и с напряженным вниманием. Мое откровенное пояснение, и о самом себе и о моих взглядах на настоящую войну - были для них интересны. И тому же, вся обстановка - ночь в джунглях, мы сидим вокруг костра словно по-семейному, создавали атмосферу доверия.

Перекинувшись со своими офицерами несколькими фразами - капитан Намеки приказывает подать нам чай, ставший неслыханным лакомством в моем теперешнем положении и трогает знаком внимания со стороны капитана, главы здешних японских войск, властным над моею жизнью и ... смертью. Он угощает меня белыми американскими галетами, ошибочно сброшенными на парашютах в их районе для французских войск, а когда я хочу вернуть ему этот индивидуальный пакетик с бисквитами и сахаром - он, с любезной и приятной улыбкой на своем красивом породистом, тонких черт, лице самурая - отказывается его взять обратно и произносит по-английски:

"Но-о... it is фор ю" /нет... это для Вас/.

"Ари-га-то, Капитана Сан" /Благодарю Вас Господин Капитан/ - в тон ему, отвечаю по-японски, чем вызываю восторг всех присутствующих его офицеров.

Я понимал, что существование рядом с Японией Великого Российского Государства внушает этим японским офицерам уважение и интерес ко мне и толкает обратить их внимание на мои строго-военные манеры при обращении с ними, на мою сдержанность и молчаливость, на мою постоянную печаль, с которой я переношу свой невольный плен. Думаю, они понимали, что переживает моя душа казака-полковника, под истрепанным мундире лейтенанта Французской армии.... Но в тоже время, их внимание ко мне, отчасти, было и неприятно, т.к. я остаюсь "их пленником", их любезность есть вещь переходящая и не обязывающая их ни к чему в дальнейшем, в отношении меня.

Разговор окончился. Все легли спать на каменистой дороге под открытым небом, "вповалку", что бы согреться. Я снова очень плохо спал в эту ночь.

Эта сборная рота с капитаном Намеки закамуфлировалась в лесу до 15 часов следующего дня 8-го апреля. Велико было мое отчаяние, когда я увидел колонну, строящуюся лицом на запад и потом, двинувшуюся назад, на фронт.

Куда, зачем и почему - нам, пленникам, конечно, не было известно. Мои ноги и душа отказываются идти "назад", на фронт. Все тело, вдруг, размякло, а душа....она была уже опустошена еще со 2-го апреля, когда я попал в жуткий плен.

Самым скучным, трудным и неприятным для человека бывает то дело, которое он делает впустую, ясно сознавая это.

Мы идем в третий раз по тем местам, которые уже проходили при разных обстоятельствах. Дорога меня уже не интересует для изучения - где отбивался от японцев. Я шагаю равнодушно. К вечеру мы снова переходим роковой для меня мост. Рота делает большой привал. Японские солдаты быстро разводят небольшие костры и готовят себе пищу. Их офицеры в своем кругу, сидят с поджатыми ногами по-восточному и что-то едят. Мы, четыре пленника, в стороне, отдельно ото всех, грустные и голодные. Рядом с нами, внизу, та пропасть с речкою в лесу, где разыгралась моя одиночная трагедия и... судьба. От этого еще более становится жутко на душе.

"Элизе!... ком хир!" /Елисеев!... идите сюда!/, слышу я голос от группы японских офицеров. Предполагая, что меня вызывают для нового допроса и распроса - встаю, одергиваю свой замзганный мундир, поправляю ремни и подойдя к ним - взял руку под-козырек, как жест воинского исполнения, вызова, потом опустил ее, не меняя воинской строевой "стойки".

"Сит-даун хир"/Садитесь здесь/ - вдруг говорит мне "мой недруг-монгол" в чине лейтенанта и по должности помощник командира батальона.

Я немного опешил от такого приглашения "сесть в офицерский круг" во время привала, к тому же рядом с этим "монголом". Боясь сделать оплошность и желая знать смысл приглашения - смотрю вначале на капитана Намеки, потом на переводчика-японца и спрашиваю последнего по-французски:

"Эт-иль POSSIBLE?" /Возможно-ли это?/.

"Мэ, вуй... ассее-ву... ле капитан перми". И потом, после короткой паузы, добавил: - "Иль э бон гарсон" /Конечно... садитесь... капитан разрешил. Он хороший человек/ - быстро произнес он эти фразы. Сидящий же несколько в стороне капитан Намеки, поняв мою нерешительность - он, с приветливой, почти детской улыбкой, ласково говорит мне по-английски:

"Сит-даун Элизэ, плис" /Садитесь, Елисеев, пожалуйста/.

Я присаживаюсь по-восточному около монгола, чувствуя неловкость за свои разбитые грубые казенные ботинки с гетрами, за торчащие из-под гетр лохмотья чулок-тряпок, за весь свой "вид бродяги"... Монгол дружелюбно похлопывает меня по плечу и "первый" начинает сложный разговор на четырех языках.

Ни один из японских офицеров не говорит по-французски, по-английски и по-русски, но знают только несколько слов и фраз на двух последних языках и весьма коротких. Я уже изучил от сержанта несколько фраз по-японски, а недостающих - добавляет-раз,ясняет переводчик по-французски. Итак, разговор получается на 4-х языках. Получается забавно и, даже, весело....

Оказывается, мой сосед-монгол, есть племянником генерала Тоги, или Ногги, участника и героя Русско-Японской войны 1904-1905 гг. Они говорят о России, любят Россию, но не красную, а Императорскую. И меня они принимают как офицера Российской Императорской Армии.

"О-о!... Шальяпин!... Пафлова!... Касанова!... Вольха-Вольха! /т.е. Волга-Волга/... Эй, ухнем!" - выкрикивает один с восторгом. Кто-то пискливым голосом затянул - "Эй!... ухнем!".... Другие нестройно подхватили... Слов они не знают и в унисон тянут мелодию. Просят "помочь" им и я, по обязанности гостя-пленника - без слов печально вторю им... А душа моя - плакала....

Вдруг один красивый лейтенант с тонкими чертами лица и хищным носом, совсем не похожий на японца, с веселыми глазами, видимо, желая показать мне знание русского языка - выкрикнул:

"Стой!.. Бласай алусье!/оружие/... Ставайсь!"

Откуда это? - удивленный, спрашиваю переводчика.

"Да это он был в Манджурии, где дрался против красной армии и их всех учили русскому языку, как нужно выкрикивать при атаке в штыки" - ответил он, как-то, нехотя.

Услышав это, я с улыбкою в душе подумал: - "ну... с этими выкриками при атаке в штыки, не собьешь русского солдата, даже, и красной армии!".

Переводчик, видимо знал и русский язык, но мне в этом не признался.

Что еще интересно: - на привалах, все офицеры немедленно-же снимали все свое вооружение, полевые сумки, снимали тяжелые ботинки и одевали нитяные темно-синие туфли на мягких подошвах. Так было и теперь. Это мне нравилось, как и приятно было видеть их, так заботливо относящихся к своему здо-

ровье. Солдаты же, снимали ботинки, некоторые раздевались, массировали друг-другу спины, мускулы, намазывали лекарством ссадины. Вообще, санитарная забота о теле, была внушена и поставлена замечательно.

Что я еще заметил, так это то, что мои legionеры, очень недружелюбно поглядывали в нашу сторону, когда я сидел и закусывал с офицерами. Потом Клебер мне и сказал вскользь из чувства ревности. Я не обратил на это внимания. А потом это выяснилось - почему? Они считали, что мы, в плену, "все равны". К тому же - они немцы, следовательно, союзники японцев в этой войне.

После ужина небольшой переход и ночевка в следующем селе. Из-за начавшегося дождя - спали в сараях-хижинах.

9-го апреля, еще до разсвета, несмотря на дождь и слякоть - обычная утренняя церемония отдачи чести своим офицерам оружием перед выступлением - производится полностью - с резкими выкриками слов команд, каких то диких, гортанных и очень неприятных для слуха, с обнажением офицерами сабель и салютованием. У нас в Легионе этого не было, почему мои legionеры, стоя под дождем - досадливо и критически смотрят на все это, а я восхищаюсь японскими военными порядками.

Выступили. Солнце проглянуло только после большого привала, во время которого мы получили мясную пищу и, подкрепившись, шагаем много бодрее.

Переводчик идет со мною рядом, сам подойдя, т.к. идем группами, на большой дистанции, в ожидании налета американской авиации, почему и возмущается волнность. Он заводит речь, из которого я узнаю, что: -

"Командиру батальона, капитану Намеки, приказано вернуться назад в село Дьен-Бьен-Фу, и в течении 20-ти дней - очистить весь этот угол Индокитаю в Тонкине от французских войск и вытеснить их за Китайскую границу". По его словам, нам предстоит пройти еще около 400 километров.

От таковых новостей у меня поднялись дыбом волосы, и я спросил:

"Зачем же нас, пленных, они ведут с собой?"

"А из экономии... У нас нет лишних людей для сопровождения Вас в тыл"

Потом, после некоторого молчания, добавил:

"Все, конечно, разочарованы новым приказом. Все хотели бы поскорее вернуться в Ханой и отдохнуть. Но приказ есть приказ и подлежит выполнению. Я то же недоволен этим. У меня болят ноги и мне трудно идти... Но через 20 дней операция будет закончена и тогда я с Вами, пленниками, на кампоне, вернусь в Ханой".

Выслушав такое откровение, даже, "от врага" - я пал духом. Еще 20 дней в таком же положении "невольников" при действующей на фронте части... Неужели нет никакого выхода из вечной опасности, что - в случае какой-либо боевой неудаче - японцы, естественно, отправят нас к праотцам!?

Я был занят этими невеселыми мыслями, когда подошли к неширокой горной речке, возле которой назначен часовой привал. Офицеры немедленно же разделлись и начали купаться.

У японцев, уход за своим телом и его чистотой - возведен в культ. И в этом отношении у них нет ложного стыда; и они раздеваются до-гола, не стесняясь друг друга. Разделся "до-гола" и сам капитан Намеки. Я прошу разрешения так же выкупаться. Разрешил. Мы вошли в воду. Она холодна. Капитан, как нежная девица, боится окунуться в холодную воду. Набираюсь смелости и щедро брызнул на него водою. Он сморщился и сразу же погрузился в воду. Все смеются над ним. Смеюсь и я, чем вывожу свою печальную душу, как...

"на отдых". Но нас застает дождь. Крупные капли бьют наше голое тело и мы все, как школьники, бежим на берег, под кусты. Батальонный доктор оказался возле меня. У него сухое смуглое тело и, буд-то, беспомощное против крупных капель; и он невольно жмется ко мне, как бы под защиту. Он жмется ко мне "под защиту от дождя", а я думаю: - как странно существо человека! Даже перед приятной стихией природы - забывается - кто враг!? И - почему люди воюют? Душа ведь у всех одинакова! И все хотят мира, покоя и уюта.

Ночь прошла в каком-то брошенном жителями селе. До него долго стояли в лесу. Капитан делал выговор какому-то сержанту. Довольно высокий и стройный - он почтительно стоял перед ним, изредка отвечая ему "ХЕИ!", что означала - есть! слушаюсь! Вы правы! и тому подобное.

Я с переводчиком стою в стороне, под развесистым деревом, в полной темноте. Он мне, почему-то, как бы "исповедывается" и очень недоволен, что его сюда командировали. На мой нескромный вопрос - "чем занимались в Ханое?" - ответил:

"Имел небольшой магазин. Я отставной лейтенант. По-мобилизации меня призывали как гражданского переводчика".

Из этого я понял, что магазин в столице Индо-Китая он имел неспроста. Видимо - служил в контр разведке, т.к. совершенно грамотно говорит по-французски. Видимо говорит по-английски и по-русски, но этого он не подтвердил на мой вопрос.

"Но у Вас вид и рост совсем не японский?" заметил я.

"У нас таких много"... ответил он и этим показал, что он "метис", т.е. что отец его европеец, а мать японка.

Он просит меня приказать легионеру принести ему в его фляжке воды из ручейка, протекавшего внизу. Я вызываю легионера Войт, даю фляжку и даю задание. И вдруг этот лентяй, безцеремненно мне отвечает, что он не хочет спускаться вниз в темноте. Это меня возмутило. Я ему указываю, как пример, что вот сержант долго выслушивает выговор своего батальонного командира стоя в почтительной позе, ночью, а он, пленник, на просьбу японца-переводчика, отказывается, хотя последний мог-бы ему и приказать сделать это. А потому, что бы не ронять престиж французской армии - "Я приказываю Вам принести немедленно-же воды!" закончил ему свой монолог.

Внушение подействовало и Войт принес воду.

- * -

Утро 10-го апреля началось как обычно. Сборная рота подошла к Дьен-Вьен-Фу километра за три, остановилась и расположилась в лесу, разбившись на мелкие группы - закамуфлировалась от американской авиации.

Было очень сырое и холодное утро. Гнетущая мертвая тишина в лесу навела на душу непереносимую тоску. Мне уже не шло в голову развлекаться изучением японского языка, чем я скрашивал монотонность своего существования. Японские солдаты и наши легионеры, поевши, завалились спать. Я же не мог. Обстановка представлялась мне такой безотрадной, так давила невыносимым гнетом на душу, что хотелось кричать благим матом, и звать кого-то на помощь во весь голос - Кар-ра-уул!

Ведь было только утро, и мне предстояло провести в таком состоянии еще весь день до вечера. От одной мысли об этом, меня охватывала еще большая тоска и, просто, физический ужас. По телу поползли нервные "мурашки"...

Что бы побороть, заглушить, такое настроение - вынимаю свой дневник и пользуясь тем, что все вокруг спали - начал писать. Но энергии хватило только на две строчки. Дальше я не мог выдержать и прекратив описание событий - занес в тетрадь следующие строки:

"Ужасное состояние духа. Без дела в лесу, среди японских солдат -

- чего то ждать?!... Чувствуется смертельная апатия во всем существе. Я сейчас уже не затравленный зверь даже, а просто существо, из которого вынули душу"... Написал, закрыл тетрадь и спрятал.

Накануне я сказал капитану Намеки, что в бою 1-го апреля убит мой товарищ, капитан Комаров и похоронен в Дьен-Бьен-Фу; и я хотел бы навестить его могилу. Выслушав внимательно и посочувствовав - он обещал допустить меня это. В чаще леса меня вызывает фельдфебель роты, тот, который хлопал меня по плечу, а я его. Маленький, щедушный - он сидит в чаще без рубашки. При нем высокий сержант. Меня он встретил низким поклоном, не вставая. Давая приказание сержанту - он часто, чисто по-японски, тянув "в себя воздух" шипяще - "сссс", что означало знак внимания и тому, с кем говорит. Потом вторично поклонился, чем сказал, что я свободен.

Сержант очень доволен, что идет в село и мы следуем рядом, как два солдата.

Мы в селе. Вхожу на балкон европейского большого здания в широкой насаженной роще. То, оказалось, дом французского резидента этого района.

На балконе встречаю "монгола", который приветствует меня веселым восклицанием:

"А-а!... Элизэ!"

Беру под-козырек. Тут же вижу доктора. Он обрил свою коротенькую бороду, подстриг усики и остриг наголо голову и теперь выглядит словно мальчик, хотя ему 29 лет, как он мне сказал раньше.

В соседней комнате мелькнула стройная фигура капитана Намеки. Его голова тоже, как и у всех, острижена наголо. Он гладко выбрит. То же и с монголом. Все они уже привели себя в порядок после похода. Все одеты "по-домашнему". На ногах у всех мягкие черные парусиновые туфли на резиновых подошвах. Такая забота об уюте, о гигиене тела и какая-то эстетика, даже в рамках военного похода, во время войны, меня очень поразила и очень мне понравилась.

К нам вышел капитан. Я отдал ему честь. Дружески улыбаясь - сел в кресло, но тот-час же заметил, что мне не на что сесть - он быстро вернулся в свою комнату и сам принес мне стул.

"Ситдаун!" /Садитесь! / произнес он с мягким приглашающим жестом. Потом вызвал переводчика. Через него он передал, что место погребения нашего капитана Комарова ему неизвестно. Разрешить же мне самому искать могилу - он не может. И как я понял из намеков переводчика - вчера село Дьен-Бьен-Фу подверглось бомбандировке американской авиации и наполовину выгорело. Капитану не хотелось, что бы я это видел.

Но вчера, в селе, за продуктами, с японскими солдатами был легионер Клевер, который все видел и уже доложил мне, что село сильно пострадало. Знал это - я не сомневался.

- * -

С нашего балкона открывался далекий вид на запад и на юго-запад, до тех самых снежных гор вблизи Китайской границы, в которые ушел генерал Алессандро со своим сильно поредевшим отрядом.

Вечер был пасмурный. Густые тучи нависли над местностью. Можно было ждать, что каждую минуту хлынет проливной дождь. А туда дальше к горам, грозовые тучи налегли на горизонт громадным сплошным черным полем, точно собираясь сначала раздавить все под собою своею тяжестью, а потом залить потоками воды. И вот туда предстояло выступить сегодня ночью, или завтра утром, всем японским ротам.

Капитан Намеки, сидя глубоко в кресле, долго смотрит неподвижно взглядом

в этом направлении. Потом повернулся ко мне и сделал такую комическую гримасу, чисто детского ужаса и отвращения, на своем красивом лице и так с, ежилсь всем своим телом, точно холод и дождь уже пронизывали его насквозь - что я не мог подавить улыбки. Весело засмеявшись в ответ - он кивнул головой в ту сторону, говоря без слов: - "Посмотрите на эти тучи!... А мне с баталионом надо идти туда... Не ужасно-ли это?!"

Я был удивлен той простотой и детской непосредственностью, с которой он, главный военный начальник всего этого громадного района, демонстрировал "нежелание идти" в такую отвратительную погоду туда, куда звал его долг и приказ генерала, да еще пере до мною, его пленником. Эта шутка вносила элемент интимности в наши отношения, устанавливалась некое подобие человеческого равенства между нами. Я решил воспользоваться этим поводом и задал ему, словно мимоходом, интересующий меня вопрос:

"А где же теперь генерал Алессандри с отрядом?" Он указал рукой на юго-запад. Потом обернулся в сторону своей комнаты и что-то крикнул. Через несколько секунд солдат принес ему французскую карту этого района в крупном масштабе - 4 километра в одном дюйме. Мы вместе развернули ее и я жадно впился в нее глазами, желая ориентироваться - где находятся японцы и где "наши" французские войска? А он, указывая по карте, объяснял:

"Генерал Алессандри сейчас находится в 50-ти километрах отсюда. Дальше дорог нет, а до самой Китайской границы идут только горные тропы. Ему предстоит пройти еще около 200 километров... Несколько японских баталионов движутся туда со всех сторон, что бы отрезать ему путь..."

И подняв голову от карты - он с улыбкой добавил: - "Через несколько дней, Вы встретите здесь своих товарищей..." Все говорилось через переводчика.

В то время, как он сворачивал карту - я не удержался от того, что бы выразить сомнение в серьезности его слов и спросил:

"Почему Вы думаете, что я с ними встречу здесь?"

Он обнял руками пространство перед собой и потянул к себе, наглядно изображая - что войска генерала Алессандри будут окружены и попадут в плен

Мне было не чем возразить ему. И я понимал, что при известном напряжении, такой маневр-окружения японцам может удастся. И мне вдруг стало страшно за судьбу своих товарищей, зная уже хорошо на своих плечах - что ждет их в этом случае! Особенно если принять во внимание повышенную ненависть японцев к французам.

Все ушли и я остался один с капитаном на балконе в надвигающихся сумерках. Мне хотелось выяснить точно: - Пойдем-ли мы, пленники, с японским баталионом дальше вперед, преследовать своих?... Очень осторожно ставлю этот вопрос. Напрягая все свои скудные знания английского языка - он ответил:

"Да, пойдете.. но ведь это всего на 20 дней!"

Я горестно всплескиваю руками и показываю ему на свои разлезавшиеся ботинки, давая понять, что они не выдержат такого похода. Он внимательно рассматривает их и после минуты размышления - благожелательно сказал:

"Я подумаю об этом". А потом, взглянув на часы - спрашивает:

"Иттинг ю тудэй?" /Ели-ли Вы сегодня?/

"Ес... тудэй морнинг" /Да... сегодня утром/ - ответил ему.

Он зовет переводчика, что-то говорит ему очень быстро и тот переводит:

"Капитан приглашает Вас поужинать с ним и его офицерами".

"Удобно-ли это?... я ведь пленный!" предупреждаю его.

"Ничего!... Это вполне допустимо... да и наш капитан очень милый человек", добавляет он

Капитан Намеки переворачивает взгляд на нас с одного на другого и догадавшись о чем мы говорим - утвердительно кивает головой с детски-приведливой улыбкой. Потом добавляет:

"Ес!Ес!" / Да!Да!/"

"Ари-га-то, Капитана Сан!" /Благодарю Вас Господин Капитан/, привстав со стула, произношу я по-японски.

Он снова скромно улыбается, потом встает, идет в свою комнату, выносит свою саблю-меч и показывает мне. Это действительно "меч", очень тяжелый весом, длинный, с широким обухом, сильно отточенный и острее его тонко как шило. Подобным оружием легко можно разрубить человека на две части, а уколом, как штыком - пронзить можно и быка... Он берет его в обе руки, как топор и замахнувшись высоко над моей головой - остановил его вверху. Уж не хочет-ли он зарубить меня для своего удовольствия, приласкав вниманием, подумал я?

"Очень хорошо!" говорит он по-русски.

"Очень н е х о - р о - ш о"... возражаю ему по складам и мы оба смеемся.

Потом он передает свой меч мне и просит показать - как фехтовались на саблях в России? Я взял меч, но его совершенно невозможно держать в одной руке из-за его тяжести. Все же показал способ фехтования и, вижу, он им не удовлетворен: уж очень он был скромный, по сравнению с тем, как у них "должны рубить двумя руками, по голове и обязательно на-смерть".

Появившийся снова батальонный врач Вотанаби, увидев наш урок фехтования - хватает свои резиновые трубки для выслушивания больных и подняв их над головой - начинает выделять утомительные выкрутасы руками и туловищем, изображая фехтовальные приемы, как бы саблей. Все присутствующие приходят в беззаботно-веселое настроение, все шутят и громко смеются. Я смотрю на эту картину сдержано и думаю: - "Где же эти жестокие в бою японцы!?... Где же их злобная мстительность?!.. Они такие же люди как и все, да еще такие симпатичные вот сейчас!"

Окончился "урок фехтования". Все разошлись. Мы вновь сидим вдвоем с капитаном, друг проти друга. Его взор остановился на моих разлезшихся военных тяжелых ботинках. Подняв глаза и пристально посмотрев на меня - он поднялся, прошел в свою комнату, принес вторую пару парусиновых черных туфель, таких же, как и теперь на его ногах и, давая мне, произнес:

"Ит ис ф о р ю" /Это для Вас/, произнес он.

"Энд ф о р ю?" /И для Вас?/, переспрашиваю его, как бы отказываясь от подарка.

"Ай хев" /Я имею/, ответил он и указал на свои ноги. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить его за подарок.

Нас позвали к столу. Была уже ночь. Переводчик предупредительно извиняется, что ужин будет "холодный" и чисто японский. Меня сядят между капи-

таном и переводчиком. Перед всеми японскими офицерами /человек шесть/, стоят их личные походные котелки с рисом и маленькие глубокие блюдечки с маленькими кусочками тушеной свинины; мне же доставили хорошую европейскую суповую тарелку и массивную серебряную ложку, явно "военную добычу"... Японцы едят очень быстро и молча. Кушанье приготовлено вкусно. Я ем с аппетитом изголодавшегося человека. Японцы не чревоугодники. И жареной свинины подано было, по нашим понятиям, слишком мало. Главная их пища рис, а все остальное лишь приправа к нему. Полный и безконтрольный хозяин сих мест капитан Намеки, мог бы, конечно, куда с большей пышностью поужинать сегодня и отпраздновать день отдыха после долгого и победоносного боевого похода, но у них умеренность во всем. На столе никаких спиртных напитков. А после ужина чай в маленьких чашечках.

За столом нам прислуживает аннамит интеллигентного вида в простом европейском костюме и без галстука. Он молчалив. Присмотревшись к нему, я узнаю в нем того самого "манدارина", помощника французского администратора здешней зоны, с которым я встретился на 2-й день своего пленения. Прислуживая - он изредка поглядывает на меня. Заговариваю с ним. Он прекрасно говорит по-французски. Я хочу узнать у него подробности последнего пребывания здесь наших войск и он очень бойко бросает мне в ответ:

"Французская войска генерала Алессандри покинули Дьен-Бьен-Фу около 11-ти часов 4-го апреля, а войска Японской Императорской армии вошли сюда около 16-ти часов /4 часа дня/ в тот же день".

Меня неприятно коробит торжественность тона и подчеркнутость, с которой он говорит о "Японской Императорской армии", как о чем-то, внушавшем самое высокое почтение, появление которой является здесь очень желанным для него, а о Французских войсках генерала Алессандри он говорит скороговоркой, как о чем-то "обыкновенном" и с оттенком, даже, презрения.

Ужин окончен. Мы продолжаем сидеть за столом. Я понимаю, что настало время мне благодарить, подняться и уходить. Но как это сделать? Ведь я же не хозяин "самому себе"! Я пленник. А главное - куда же я пойду?! Не обратно же в лес, за три километра отсюда! Да еще в такую глухую ночь

К нам входят еще офицеры, не виданные мною. Довольно крупные, плечистые, увешанные саблями-палашами, биноклями, большими полевыми сумками. Видимо командиры тех рот, которые оставались здесь, на фронте. Все они суровые видом. Среди них вижу и "своего" лейтенанта Сано. Но он меня, как будто "не узнал". Вернее - не показал виду, что знает меня. Из-за престижа победителя. Все прибывшие очень недружелюбно бросили в мою сторону взгляды и сразу же о чем-то заговорили с капитаном. Мое присутствие здесь, и мне самому, представляется неуместным далее и это меня волнует. Капитан сказал что-то ординарцу и тот подходит ко мне с видом начальника и недопускающим возражений тоном - тянет какое-то резкое междометие "Н-Н" и повелительным жестом приказывает следовать за ним.

"Сказка закончена"... Я уже не гость, а пленник. Выходим из пустой балкон и меня ослепляет мрачная темнота. Моросит дождь. Меня ведут в людскую во дворе, где расположена радио-станция. Там полно солдат. На полу, на большом грязном матрасе, улеглось несколько человек. Повсюду сор и сильно накурено. Я вижу своего конвоира-сержанта, с которым я шел из леса. Он указывает мне место для сна рядом с лежащими солдатами. Ложусь в чем был. Сон не идет. Несвязные мысли скачут в голове. Контраст между обстановкой, в которой я был всего лишь несколько минут тому назад и жуткой действительностью вот сейчас - слишком разительный.

Входят еще несколько солдат и с ними тот фельдфебель, который "хлопал меня по плечу". Он при сабле. Все солдаты почтительно разступились давая место пройти ему. Он вежливо поклонился солдатам и занял место на матрасе.

Удивительная дисциплина у японцев! Вот и сейчас: - Глухая ночь. Тускло светит топильник. Вошли мокрые, грязные солдаты. Казалось-бы - какая может прийти мысль об отдавании воинской чести? Да еще всего лишь фельдфебелю! Аи, нет! Воинская честь ему была оказана по всем правилам. И она обязательна не только что для подчиненных, но и для него, кому она отдается. И этот маленький сухенький пожилой фельдфебель, так-же отчетлив в ее отдавании, как и подчиненные ему солдаты.

Мой конвоир приказывает мне уступить место новоприбывшим солдатам, а мне лечь в проходе.

"Хир но мор плес" /Здесь нет больше места/, говорю ему, зная, что он понимает немного по-английски. Он поднимается, что бы убедиться в правоте моих слов. Мой сосед и фельдфебель любезно показывают, что бы я лег на старое место, но я укладываюсь у самой стены, не желая, что бы меня и еще беспокоили.

От кирпичной стены мне становится сразу же холодно. Я начинаю кашлять и мешаю солдатам спать. Те громко и злобно ворчат на меня. Горькая доля пленника: - даже кашлять нельзя..

- . -

Рано утром 11-го апреля, мой конвоир приказывает мне встать и привел ко крыльцу штаба, где стояли капитан Намеки и переводчик.

"Вы идете в Ханой... С Вами пойдут 23 наших больных солдат!" огорчает меня переводчик столь неожиданной и приятной новостью. Но узнав, что старшим над нами будет сержант, и учитывая, что до Ханоя надо пройти 500 километров - я сразу же представил себе картину ожидающих нас унижений, а может быть, и насилий. Обращаюсь к переводчику и прошу передать капитану Намеки от моего имени следующую просьбу:

"Хотя я и пленник, т.е. человек безправный, судьба которого находится всецело в руках победителя, и меня можно, даже, безнаказанно убить - но и в этом положении я остаюсь офицером, а потому и прошу дать распоряжение сопровождающим нас солдатам обращаться со мною в соответствии с моим рангом. В частности, я буду очень благодарен, если будет запрещено меня в пути обыскивать, без достаточных к тому оснований. И еще - прошу освободить меня от обязанности нести чужой солдатский ранец, как это уже было со мною. Как и прошу не напрягать моих легионеров непосильной ношей чужих вещей".

Переводчик, человек весьма не глупый и вкисивший европейский культуру - сразу понял мою мысль и положение и, не ставя мне больше никаких вопросов - немедленно же обратился к капитану, который, выслушав, одобрительно кивнул головой. После обмена несколькими фразами - переводчик коротко и строго официальным тоном объявил мне:

"Не беспокойтесь! Все будет сделано!"

Не знаю, что мне больше всего помогло: - решительность ли моего обращения? убедительность ли моих доводов? подчеркнутая ли воинская дисциплированность и выдержка в обращении с японскими офицерами? мой ли "почтенный" возраст и отросшая борода с проседью? то-ли обстоятельство, что я был "русским"? или все это вместе взятое - но мои требования были выполнены. И ни разу не нарушены за все долгое и грустное следование в центральный лагерь для военно-пленных, находившийся в Ханое.

Команда больных солдат была уже собрана здесь же во дворе и Медленно тронулась в путь. Взяв в последний раз под-козырек перед обаятельным капитаном Намеки, сказал ему "Гуд бай" /До свиданья/ - быстро повернулся по-военному и так же быстро зашагал за больными - бодрый, повеселевший и довольный тем, что самый трудный, как мне тогда казалось, этап моего пребывания в плену, уже пройден. Так началось 12-го апреля мое нудное и трудное путешествие назад, в тыл. Но теперь передо мною стояла определенная цель, и сознание, что мы идем в культурный центр, где наше положение пленных будет, как-то, урегулировано и, при том, к лучшему. - Все это вливалось в меня новыми силами стоически переносить все невзгоды, связанные с нашим невольничеством.

Нам предстояло в 4-й раз проходить по одной и той же дороге, шагать снова по тем же самым знакомым диким местам и переходить десятки тех же самых разрушенных нами же мостов. Общество моих легионеров, все больше и больше терявших воинскую дисциплину, и даже учтивость в отношении меня, с которыми всё уже было "переговорено" - не представляло никакого облегчения для меня в путешествии, а наоборот, становилась с каждым днем тягостнее. Окружающие нас японские солдаты обращались с нами с затаенной враждебностью и, даже, со злобой. С ними надо быть постоянно "на-чеку". Кушать же приходилось только один раз в сутки, и только сухой рис.

Наша небольшая группа в 23 больных японца и 4-х пленных, шла в беспорядке, сильно растянувшись по дороге и представляла печальное зрелище. Четверо здоровых солдат с винтовками, нагруженные своими тяжелыми ранцами - несли на плечах носилки с исхудавшим тяжело больным товарищем. Раненых у японцев не было. Два тяжело больных солдата, без ранцев и винтовок, опираясь на длинные бамбуковые палки, с трудом плелись по дороге. Остальные были менее больны и передвигались сравнительно быстро. Во главе этой группы и нескольких совершенно здоровых конвоиров, был назначен Фельдфебель при шашке, довольно высокого для японца роста, крепко сложенный и достаточно упитанный. С довольно правильными чертами лица - всем своим видом и манерами - он походил на "провинциального мелкого богдыхана". Солдаты относились к нему с большой почтительностью, но он держал себя безразлично-отчужденно. Я знал по горькому своему опыту этот наихудший тип младшего начальника, и сразу же учел, что с ним надо держать "ухо остро".

Его помощником был младший сержант, очень изящный и хрупкий молодой человек, с тонкими и интеллигентными чертами лица и приятным мягким голосом. Он немного говорил по-английски и был единственным человеком среди японских здесь солдат, с кем я мог бы разговаривать и заявлять о наших нуждах.

Нам было положено делать в день 30 километров и прийти к месту назначения через 25 дней.

До первого привала мы дошли уже сильно растянувшись по дороге и долго отдыхали, поджидая отставших. И когда мы тронулись дальше - наша группа пленников, обогнала одного из двух тяжело больных, с давно не мытым угрюмым лицом. Он был плотного сложения и в достаточной степени упитан. Когда я поровнялся с ним - он обратился ко мне с междометием: - "Ы-Ы-УУ!" и приказывая рукой подзывал к себе. Я подошел. Он крепко ухватился под мою руку и кивком головы приказал "вести его таким манером" дальше. Я невольно содрогнулся от безразличного чувства, уже, от одного его прикосновения. Я сразу почувствовал, что у него очень высокая температура. Подчиниться его приказанию, означало связать себя в свободе своего личного движения на много дней вперед и, может быть, всего нашего путешествия до Ханоя. Но грубо оттолкнуть его, мне было неприятно. Обдумывая выход из положения - я подчинился. Мы идем молча. Он быстро устает, ложится отдыхать и требует, что бы я ждал его. Он жадно глотает сырую воду из своей фляжки

и все время жалобно стонет. Я тороплю его идти вперед. Он встает, цепляется за мою руку и мы тихо идем дальше.

Обгоняем второго тяжело больного. Это высокий и тощий солдат, с сильно исхудалым лицом. Он завидует своему товарищу, обеспечившего себе такого сильного "поводыря", как я. Меня берет страх - как бы он не уцепился бы за меня с другой стороны...

Так черепашным шагом я прошел ровно 15 километров до места ночлега. Втянув его по лестнице в сарай-хижину, где он немедленно же улегся на пол - я хочу идти к своим легионерам, что бы с ними поужинать. Заметив это - больной требует, что бы я взял подстилку для него и отшел бы к другим японским солдатам. Исполняю это и, улучив момент, скрываюсь.

Спустилась ночь. Многие, и я в том числе, уже улеглись спать на голом полу. У костра в сарае сидят несколько солдат и чем-то лакомятся.

"Элизе!... Ком хир!" /Елисеев!... Идите сюда!/ слышу я приветливый голос своего нового приятеля-сержанта.

Встаю и подхожу. Он наливает в стакан что-то из бутылки и предлагает выпить. Что бы не обидеть его - пью отвратительную местную водку "шум-шум" и решительно отказываюсь от второй рюмки, чем привожу всех в удивление.

Угостили они и моих легионеров, но когда рыжий Линц, дурак и пьяница, попросил еще - они брезгливо отказали ему. Я предупредил легионеров, что бы они держались бы более достойно. Они на это никак не реагировали и завалились спать после водки и сытного ужина. Спал и я в эту ночь, не в пример прошлым, довольно хорошо..

- . -

Утром 12-го апреля, все тяжело больные выступили на пол-часа раньше. Я был очень рад этому, рассчитывая избавиться от роли "поводыря". Но после первого же привала, мы их нагнали. "Мой больной" шел мрачный и, увидев меня, кинулся ко мне и безцеремонно взял меня под руку.

"Неужели мне все время придется идти с ним?" с тоскою размышлял я. "А что если у него тиф? Ведь я могу заразиться и что будет тогда со мною!... И мне начинает уже казаться, что и у меня самого начинается небольшой жар. Не от него-ли?"

У больного человека всегда бывает опечаленный вид, но у больных азиатов он печалей и жалок вдвойне. Свою "хворь" они стараются выявить как можно ярче, словно желая вызвать большое сочувствие у окружающих. Оба больных японца непрерывно стонут, отплевываются, пьют сырую воду и на привадах, вместо того, что бы вытянуться во весь рост на землю, животом в верх - они неестественно корчатся на боку и все стонут и стонут... Так проходит нудно и утомительно второй день нашего пути.

13-го апреля я решил покончить с ролью санитаря-поводыря и ловким маневром избегаю встречи со своим больным. Но я "наткнулся" на второго, того высокого и тощего. Увидев меня "одиноким" - он радостно пересекает мне путь и, худой и длинный, как у обезьяны, рукой - обнимает меня за шею и всем телом наваливается на мое плечо. "Ну, решаю, этот номер не пройдет!" И решительно сбрасываю его руку с шеи. Он хватается моей под руку. Я прихожу, буквально, в ярость, но не отцеплюсь... На первой остановке, я все же бросаю его. Он смотрит на меня так страдальчески-печальными и умоляющими о помощи глазами, что мне становится жаль его. Но мне так опротивела обязанность поводыря, что я уже органически не могу выносить прикосновение к себе чужого больного тела. Я отвернулся и твердо зашагал вперед.

Мы проходим место нашего последнего боя и моего пленения. На привале

Я достал свою очень маленькую записную книжечку и украдкой стал набрасывать кроки местности. Как вдруг ко мне подошел сзади японский солдат и потребовал показать ему - "что я делаю?" Положение мое было очень щекотливое. Я досадовал на себя, что при всегдашней своей осторожности, сейчас я так глупо "попался с поличным"... Теперь меня могут обвинить и в шпионаже. И если он, даже, и не донесет на меня по команде, то ему дан повод и оправдание применить ко мне физическое насилие. Мысли вихрем проносятся в голове. Я с величайшим наружным спокойствием показываю ему свой очень мелкий набросок, для простого солдата почти не понятный. Он сосредоточенно, и очень внимательно, рассматривает его и наконец, резким жестом приказывает изорвать записную книжечку. Только этого не хватало, думаю я. Начинаю объяснять ему "на всех языках", что книжечка была у лейтенанта Сано, что он видел ее и вернул мне обратно. С очень независимым и несколько наивным видом сознательно лгу ему, стараясь доказать "его заблуждение". Он смотрит мне в глаза остро-испытывающе, потом бросил злым тоном короткую, видимо, предостерегающую фразу и отошел. Я облегченно вздыхаю, торжествуя внутренне, что спас книжечку своих записей и кроки в ней. Даю себе клятву быть более осмотрительным и осторожным.

Но дело на этом не кончилось. Когда мы стали подниматься по памятным мне зигзагам "к первому перевалу" - я решил точно установить число их. Что бы не сбиться со счета - я взял в руку несколько камешков, и шинуя каждый зигзаг, класть по одному в карман. И только что я нагнулся за ними на дороге, как новый солдат, а может быть и тот, сердито прикрикнул на меня и приказал бросить их на землю. Этого уже я никак не ожидал. Что подозрительного он мог усмотреть в моем поступке? Но мне стало ясно, что существует инструкция - всем им зорко следить за мною, т.к. будучи офицером, я им кажусь более опасным, чем остальные три легионера. Это меня очень смутило и еще более заострила осторожность. Однако, я слишком заядлый охотник, что бы так легко отказаться от поставленной задачи. Не могу устоять против соблазна! Незаметно я успеваю подхватить горсть камешков, самых мелких, отсчитываю из них десять, а остальные выбрасываю. Теперь я бросаю на землю по-одному на каждом пройденном зигзаге, которых оказалось "тринадцать".

Нехорошее число, ! думаю. Поэтому то нам и пришлось здесь так "жарко"!

Появляются американские авионы и по тревожному сигналу - все прячемся в лес. Странно! Всего лишь 11 дней тому назад, я, вместе с другими, так радовался их появлению! Мы тогда кричали им снизу слова приветия, размахивали касками и старались выразить всеми доступными способами наше восхищение. А вот теперь - я прячусь от них... Правда, по приказу японцев. Но в самом себе чувствуется ощущение досады и страха: - "А вдруг они бросят бомбу... и ты будешь ранен, или... убит!"

Под вечер мы свернули с главной дороги к речке. Японские санеры строили новый низкий мост с таким видом, точно они забавлялись этим делом. Все они были голые, только "с передничками" и в касках на головах. Около сотни молодых аннамитов таскали им из лесу бревна под управлением высокого аннамита-же. Вид у них был испуганный. На нас они "косились" с удивлением и сочувствием. Старший подошел ко мне и очень сердечно спросил по-французски: - "Капитан-ли я по чину?" и угостил папиросой. Видно было, что властью японской, они недовольны.

Здесь нам сообщили, что после ужина, нас отправят дальше на порожних возвращающихся камионах. Четыре больших темных силуэта этих машин, внушительно выступали на фоне японских костров и радовали наше сердце.

Для дела - у японцев не существует разницы между днем и ночью. Дисциплина на первом месте и в лесу, и в непогоду. И теперь, тоже - какой то офицер лично руководил в ночной темноте, в лесу, таким казалось пустынем как посадка нас на камионы, нагруженные до-отказа пустыми железными

боченками из под горючаго. Солдаты быстро и отчетливо исполняли его распоряжения, отвечая на них лишь короткими возгласами "Хэй!" и - ни слова больше. Удивительная дисциплина!

Разместились кто как мог на боченках - тронулись в путь. Все шумно и резко загрохнуло, затрещало, заскрежетало. Уцепившись за что попало, в самых причудливых позах что бы предохранить себя от ушибов - ехали мы с чувством радости - что мы попали на камионы и теперь наше путешествие в Ханой, закончится скорее.

Камионы шли осторожно и медленно. По дороге было много ухабов. Только что исправленные мосты, разрушенные нами, не внушали доверия... Одним словом, за два с половиной часа, мы сделали всего лишь 14 километров. В глубокою полночь, прибыли в административный центр, в село Туан-Джао.

Ссадив нас с камиона, повели пешком в какие-то, построенные из бамбука, казармы, где мы сладко уснули на невероятно грязном полу, после долгого и утомительного перехода-перезда в 43 километра, в продолжении 15 часов времени. совершенного.

14-го апреля, еще в темноте - наша "команда больных" отправилась к тому месту, где мы выгрузились из машин. Разсвело. Вижу, что село на три-четверти сожжено американской авиацией, когда она нам помогала в бою 31-го марта. Тогда было очень приятно чувствовать ее поддержку, а вот теперь жалко смотреть на сплошное пепелище. Пострадали, ведь, жители, а не японцы!

Томительно ждем час посадки. Но вот разместились, тронулись. Замелькали знакомые места. По долине шли быстро и было приятно сознавать, что мы "едем", а не тащимся пешком по горам и долам. Скоро стали подниматься на 2.000 метровый перевал "Дэмю" и, на половине его южного склона, свернули в чащу бамбуковых зарослей, своими густыми вершинами, образовавшие непроницаемый для глаза сверху крытый естественный свод. Лучшего прикрытия от авиации и не придумать.

Нестерпимо тянулся день на этом "дневном центре-станции" для грузовых камионов, закомуфлированной от американских авианов. И лишь с темнотою мы двинулись по длиннейшей зигзагообразной дороге вверх к перевалу.

Десяток камионов, режущими тьму своими огнями во все стороны - представлял феерическую картину. Точно какие-то таинственные чудовища, пытая и рыча, ползли вверх, к своей добыче. Это меня развлекало и отвлекало от невеселых дум. Наспех отремонтированные мосты, порой, не выдерживали тяжести камионов, и японцам приходилось всеми средствами вытаскивать застрявшую машину при свете огней следуемого позади камиона. Мы, пленные, мрачными тенями ходили вокруг и помогали японцам. Так прошла утомительная ночь, и утром 15-го апреля - мы добрались до памятного нам следующего бывшего французского административного центра, и одного из пунктов Легиона - села-городка СОН-ЛЯ, расположенного на высоком шпиле.

Городок только что просыпался. Чины по обслуживанию японской администрации толпились у единственного здесь водопровода в очереди к воде. Пока наши солдаты готовили пищу - я обошел ближайшие к мосту здания. Прошло три недели, как мы оставили их сильно разрушенными и в запущенном состоянии. Я полагал, что аккуратные японцы успели привести их в порядок, и был разочарован в первый раз от них, от японцев. Если французы портили все, остававшееся врагу, то японцы должны были позаботиться о них для самих себе!

Здесь мои legionеры сделали совершенно недопустимое заявление мне. Я уже заметил давно, что оказанное мне японскими офицерами внимание - их раздражало. И вот теперь, самый распушенный, но энергичный legionер Клевер - обратился ко мне с такими словами:

"Мон льеутёнант!... мы сейчас больше не солдаты, а штатские люди... /ну сом сивиль/, т.к. мы в плену. А потому - мы все равны и Вы должны ранцы японских больных солдат, нести как и мы".

Это заявление меня сильно задело. В Иностранном Легионе, дисциплина была особенно строгой и запрещала какое-бы то ни было прирекание с офицерами Легиона. Поэтому я решительно и сухо "оборвал" его:

"До конца войны, до полной демобилизации, мы остаемся военными" /"Ну рестон милитэр жюско бу" - мы остаемся военными до конца, ответил я ему "И прошу ко мне с подобными заявлениями больше не обращаться. Или же обратитесь... к японским властям!" добавил я.

Два других легионера сидели, при этом, в мрачном молчании и слушали. Видимо, они находили ненормальным, что они, немцы, находятся в худшем условии в сравнении со мною, в то время, как их родина - Германия, является союзницей Японии и врагом Франции и России. Их задевало то, что японские офицеры, делают поблажку русскому...

Возможно, как люди простые, они и не знали, что во всех старансах, пленные офицеры содержались отдельно, и привилегированно от своих солдат.

После завтрака из сухого риса без всякой приправы - кампоны с нами, пленными, но без больных /они оставлены были в местном французском госпитале/ - передвинулись вниз, в лес; и остальные японские солдаты, с нами, расположились "на-день", в грязном, брошенном жителями селе. Нам об, явили, что простои здесь два дня. Здесь, сменяемые скукой и бездельем, полуголодные, с опустошенной душой, и поддакиваемые своей полной безнаказанностью - легионеры снова пред, явили мне требования, что бы я исполнял наравне с ними все, налагаемые на них японцами работы. Я решительно отказался разговаривать с ними на эту тему.

В нашем общем несчастье, за все 18 суток совместного с ними пребывания в плену - я ни одним словом, ни одним действием не проявил, в отношении их, каких-бы то ни было претензий, связанным с моим положением офицера. Я шел с ними рядом в нашем тяжелом марше, ел с ними из одного котелка, спал с ними на одном и том же грязном полу в аннамитских паютках /хижинах из бамбука/. Я всячески старался поддержать у них дух бодрости и защищал их.

Что это было? - озорство или заблуждение? Если "второе" - то в нем они убедились ровно через неделю, когда прошли ворота главного лагеря для французских военно-пленных в Ханойской Цитадели, где воинская субординация оставалась чисто военной между французскими офицерами и солдатами, а перед японскими - в особенности; где приказано было всем, и офицерам - отдавать воинскую честь японским, даже, часовым, проходившему караулу, ежедневно строиться для проверки два раза в день и воински исполнять все команды японского унтер-офицера. Я им "там и тогда" не только что "простил их заблуждение", но ни разу и не напомнил им. Но - как они отчетливо, весело и радостно "козыряли" мне привстречах во дворе! Хотя - в их глазах я замечал страх.... Они боялись ответственности. Она была бы. Но я и вида не подал им, словно и не было озорства или заблуждения с их стороны.

16 апреля, в 16 часов, "наш отряд" собрался на лесной тропе и двинулся на восток. Вышли на главную дорогу-шоссе и пройдя три километра - остановились. Здесь формировался большой транспорт کامионов. С нами отправлялись в Ханой много новых японских солдат, местный французский Резидент Господин Колонна д, Арнано и 25 таможенных чиновников с семьями.

Разместились и тронулись. В нашем کامионе тесно. Некуда протянуть ноги. Справа от меня довольно вольготно расположился высокий и толстый японский солдат. Когда я попытался передвинуть занемевшие ноги в его

сторону, он так злобно зарычал на меня, что я поспешил занять прежнее свое "скорченное" положение.

Впереди меня, на корточках, сидит Резидент Колонна д, Арнао. При каждом толчке машины, он теряет равновесие и падает из стороны в сторону. Видно, как он нервничает и непрерывно курит. Угощает меня и делится впечатлениями. Он очень культурный человек и красивый француз. Свое положение переносит стоически. Наш транспорт состоит из десятка کامионов и движение ночью, по извилистому горно-лесистому дефиле, дает мне некоторое развлечение. А на душе - попрежнему тоскливо.

Ехали всю ночь, а о сне нечего было и думать! Ухабы, разрушенные мосты, остановки... Нас толкало, начало, подбрасывало и "мяло" в перегруженном до отказа کامионе всю ночь... И странно было слушать, когда при остановке, из одного из کامионов, в тишине ночи, раздался женский голос своему мужу, находившемуся в другом کامионе:

"Поль! Павел!... у тебя есть бананы для ребенка?" /а ты де банан пур анфан?/

Рано утром 17 апреля выгрузились в каком-то селе. Нас, пленников, немедленно же отделили от гражданских французов и поместили на балконе какого-то кирпичного здания, приказав ложиться спать.

Пол был загражден до-нельзя. Видимо, его не подметали со времени прихода сюда японцев. Лечь на него, просто, было страшно и противно. Нахожу старую рогожу и, подослав под себя, моментально засыпаю крепчайшим сном, вернее, проваливаюсь в мертвую пропасть. Я счастлив ощущению покоя, охватившему мое измученное тело. Но вдруг - грубый толчок ногою в бок. Открываю с досадой глаза и вижу японцев, торопящих нас встать из своего скудного ложа и идти в лес, укрыться от американских کامионов, которые не дают покоя японцам и пугают их. По дороге вижу сбившихся в кучу французских таможенных чиновников с женами, и детьми и с узлами вещей... Впереди них, в позе вождя "этого клана невольников", стоит сам Резидент. Все они с большим сочувствием смотрят на нас. Меня мучит звериный голод. Хочется подойти к ним и попросить чего-либо съестного, но конвоиры безцеремонно гонят нас дальше и глядящая нам вслед группа гражданских французов, скоро остается далеко позади нас.

В лесу, мы и японские солдаты, небольшими группами разсаживаемся в кустах. Начинается новый день томительного ожидания. Рядом журчит ручеек с холодной водой. Иду к нему и нахожу большой ком вареного риса, выброшенного японцами при чистке котелков. Беру и обнюхиваю. Он еще свежий. С радостью, и без прежних колебаний, беру его весь. Часть съедаю тут-же, а остальное несу legionерам. Они нашли какую-то "зелень" и приступили к варке из него подобие какого-то супа. Это нам очень нужно, т.к. от постоянного "сухого риса" без приправы - наши желудки отказываются работать.

В этот день мы впервые пили чай с сахарином. Это был мой личный "успех". Случилось же так:

Проходя мимо одного из наших конвоиров, я увидел у него в руках обемистую сумочку с сахарином. Искушение было слишком велико. Очень вежливо, я сказал ему по-японски:

"Кори-сату, коуда сау!... До зо Сан?" /Дайте мне сахарину, пожалуйста, Господин?/

Ему, явно, было жаль уступить мне что-либо из своего запаса, но он неоднократно уже вывлял ко мне свою симпатию и знает мое имя - "Элизэ". А потом - я так правильно спросил его на его родном языке, по его же личным урокам мне - что отказать ему было недовно.

После еды и чая с сахарином - начался изводящее душу "ожидание"... Тишина тропического леса, как-то, давит на душу. Отлучаться куда-бы ни было

строго запрещено. Тоска. Одна только радость, что до конечного пункта, в Ханой, осталось всего лишь 190 километров.

В несчастьи человек всегда строит планы и мечтает. И мечтает всегда так, точно все обязательно должно сложиться, именно, в его пользу, и в этом он находит утешение. Так и я строю оптимистические расчеты, что: - если нас отправят отсюда пешком - мы будем в Ханое через 6 дней. Это ведь пустяки в сравнении с тем, что мы уже прошли! И сам город Ханой представляется мне библейской "обетованной землей". Кроме того - здесь уже японский глубокий тыл, а следовательно, нам не угрожает опасность жестокой расправы.

В 17 часов нас торопливо собрали и двинули через большое село, сожженное американской авиацией. Конвоиры нас усиленно подгоняют, но мы и сами торопимся, зная, что где-то в лесу нас ждут Kamiоны, тщательно укрытые в большой гуще леса. Через три километра мы присоединились к большой группе японских солдат, среди которых, наши старые спутники-конвоиры составляют меньшинство. Новые японские солдаты рассматривают нас с большим любопытством. Особый "интерес" возбуждаю я. Наши конвоиры что то говорят им, именно, обо мне и я чувствую себя очень неприятно под "сосредоточенным огнем" взглядов всех. В подтверждении этого - "мой приятель" молодой интеллигентный японский сержант, вдруг весело громко окликает меня такими словами по-английски:

"Элизэ!.. Хау олд ю?" /Елисеев! сколько Вам лет?/

"Го джу!" /Пятьдесят три!/- отвечаю ему по-японски, чем вызываю всеобщий восторг толпы.

Ответив - усаживаюсь у канавки с равнодушным видом, надеясь, что меня оставят в покое. Но меня окружает толпа солдат и с раздражающим любопытством рассматривают - и меня самого, и все мое обмундирование, которое настолько изношено и грязно, что мне становится стыдно перед ними: - я не хочу показаться в их глазах "несчастненьким" ...

Подачи Kamiонов пришлось ждать долго. Когда они появились из леса - "кто-то" долго размещал нас на них. То мы садились, то слезали, то опять нагружались... Наконец тронулись и ехали всю ночь в тех же условиях, как и прежний раз. Нам, пленным, был отведен минимум места. Утомительно и нудно было сидеть все время без движений на положенном тебе "пятачке", скорчившись всем телом, а главное, не имея возможности вытнуть ноги из страха потревожить конвоиров, очень ревниво относящихся к своему положению. Когда дело шло об их личных удобствах - они не были склонны ни на какие поблажки в отношении "низших себя". И о своей власти над пленными - они не забывали никогда.

По дороге нам пришлось погрузить в Kamiоны много старого железа всевозможных видов и форм.

"Видимо плохо у них с железом", подумал я. "Не победить им американцев!" делаю заключение.

- . -

19-го утра мы вехали в китайский городок Суют, совершенно не тронутый войной, почему жизнь в нем протекала нормально. После выгрузки, нам приказано было сесть на тротуаре и ожидать. Конвой, обрадованный тем, что попал в город - быстро разбрелся по торговым лавочкам и мы, фактически, остались безо всякой охраны. Пользуясь этим - разбрелись и мы. Я зашел в ближайший китайский магазинчик и спросил лиц.

"Кто Вы? вполголоса спрашивает меня хозяин по-французски.

"Пленный французский офицер", отвечаю ему.

"Капитан?" допытывается он. У китайцев, все офицеры считаются "капитанами", поэтому, не желая разочаровывать его своим малым чином лейтенанта, мало подходящим к моей седой бороде - подтверждаю, что я есть - К а п и т а н ...

После этого краткого диалога, меня окружили члены его многочисленной семьи, заглядывая мне в глаза с нескрываемой симпатией и сочувствием. Пожилая китайка подала мне чашечку вареного риса, щедро посыпав его при мне сахаром. Она хочет наглядно показать - как они рады помочь мне, французскому офицеру, в несчастье. Не успел я с, есть такой вкусный сладкий рис - как уж были сварены купленные яйца. Я не могу удержаться и принимаюсь есть их тут-же с величайшим наслаждением. Вся семья китайца стоит вокруг меня и с добрыми улыбками следит - как изголодавшийся человек, с диким аппетитом, поглощает яйца одно за другим. Они видят, что я еще далеко не насытился и хозяйка приносит мне еще рису, но уже в очень большой чашке и еще щедрее сыпет в нее сахар. Я чувствую как согревается моя душа под лучами ласки со стороны этого милого китайского семейства. Я вижу, что местные жители, китайцы в особенности, очень недовольны тем, что власть перешла к японцам.

В этот день мы были сыты, как давно уже не были. Конвойные тоже не обращают внимания на нас. Мы свободно бродили неподалеку и это ощущение "свободы", доставляло нам большую радость.

В 17 часов /пять вечера/ нас переправили на пороме через "Ривьер Нуар" /Черная река/ и погрузили на камiónы, но через 10 километров нас высадили и мы пошли пешком. Шли мы темной ночью и до самого разсвета, не зная - куда нас ведут? Утром опшановились на привал около речки. У конвоиров был запас мяса. Они наловили еще кур, сварили рис и очень вкусно ели на наших глазах. Нам же дали только один "сухой рис", от которого мы отказались, т.к. он уже совершенно не шел в "глотку"...

К полудню вошли в большой аннамитский город ХОА-БИН, вокруг которого было сосредоточено много японских войск, артиллерии и обозов, замаскированных в лесу. Здешние солдаты осматривали нас злыми глазами. Толпа грязной ленивой аннамитской черни, среди которой было много детей и подростков, сопровождает нас с недобрым любопытством. Мы чувствуем себя среди врагов. Нас вводят в маленький дворик и помещают в сарай, отдельно от наших конвоиров, к которым мы уже привыкли. Город является японским военным центром и жизнь в нем бьет ключом. Улицы полны народа.

Весь день мы проводим в нашем дворике, изолированно. В горах было свежо, даже холодно, а здесь, внизу, мы попали в непривычную жару. В соседних домах много японских солдат, для которых мы, словно, бельмо в глазу. За весь день ни одного приветливого слова, или взгляда, а одно презрение... Японскими солдатами тут же выбрасываются обеды. Терпкая жара и мириады мух. Но мои legionеры способны спать и при такой обстановке.

Разрешили пойти в лавочку. Купцы встречают меня любезно, но осторожно, с оглядкой. Вижу, что они не сочувствуют японцам.

Возвращаясь - прохожу мрачную комнату к нашему двору. Справа мелькнула какая-то подозрительная тень и... скрылась. Осторожно вернувшись - глянул в ту сторону, где мелькнула тень и... в тусклом зеркале, "засиженном" мухами - увидел сам-себя... "Я-ли это?" всмотревшись в заросшее седыми клоками жидкой бороды, с темным, загорелым-ли, обветренным-ли, бронзовым лицом и со многими десятками тонких линий-морщин по нем, в особенности около рта и глаз. Да - это я!... лейтенант 5-го пехотного полка Иностранного Легиона Французской Армии... и Полковник Славного Кубанского казачьего Войска...

Оправив перед зеркалом свой мундир - вошел во двор и сел в уголке.

Пришла ночь. Надо спать. Но спать нельзя: тучи мух в дневной жаре — на ночь сменил сонм москитов. Они жужжат, плавают над тобою, лезут в нос, в глаза, в рот, в уши... Без "москитника" невозможно заснуть. И к тому же, в нашем каменном внутреннем дворике среди кирпичных построек — терпкая духота, испарение, дурно-кислый запах разлагающихся с естных отбросов от японской, плохо-пахнувшей кухни. Ночь прошла кошмарно...

Выступление назначено в полночь. Едва успели мы задремать — как уж под, ам. Глухая полночь. Нас заставили нести какие-то японские ящики. На площади идет погрузка множества пустых битонов из под шорючаго и погрузка одной роты солдат. Мы попадаем в водоворот людей, и людей, нам совершенно чуждых по психологии. Боже!.. что началось тогда с нами?! К нам, здешние японские солдаты, отнеслись как к "чумно-больным", или к людям "низшей расы", к которым брезгливо, даже, и дотронуться, а не то, что бы вместе быть! Нас толкали со всех сторон, точно желая избавиться от нас и избежать, даже, физического прикосновения к представителям "той расы", с которой они ничего не имеют общего, и не желают иметь его и в будущем. Я даже оторопел от такого, чисто-звериного обращения. Но потом принялся наблюдать выражения их лиц, их действий, стараясь понять их психологию. И пришел к выводу, что пре до мною стихия человеческих существ, совершенно однородных по своему духовному и физическому складу, по способу своего мышления и своей обособленности, как коллектива. Это был "монolit", который очень трудно разбить, или разчлениить. Как воинская сила, они были несокрушимы своей "однородностью", за которую, т.е. "за самих себя" — они были в состоянии постоять твердо, не жалея собственной жизни.

И вот, от такого сознания, мне стало очень тяжело и тревожно. Находиться в их среде здесь было неприятно и, быть может, опасно...

В такой обстановке закончилась наша погрузка и, еще до рассвета 20 апреля, наконец-то, мы прибыли в Ханой, конечную цель наших стремлений

В Х А Н О Е.

Как мы ехали?

По требованию массы солдат — нас выгрузили от них и поместили на камиион с пустыми металлическими 20-ведерными бочками. Весь транспорт мчался с бешеной поспешностью. Бочки грохотали, терлись между собою, танцевали, наваливались на нас. Что бы не быть ушибленными — мы сели верхом на верхние из них и уцепившись руками в их закраины — держались как в седле на необученной лошади. У самой окраины города/восточной/, нас выгрузили с конвоем. Идем по темной пыльной улице в беспорядке. На легионеров навадывают какие то выюки. Какой то солдат приказывает мне взять длинное бревно и нести. К чему оно — не знаю. Я отказываюсь. Он хватает его и кладет зло мне на плечо. Подчиняюсь... и несую.

"Элизэ!.. Ком хир!" /Елисеев! Идите сюда! / кричит мне мой сержант-друг, идущий далеко впереди конвоя.

Бросаю бревно и спешу к нему.

"Уэр ис рю Поль Берт?" /Где улица Павла Берта?/, спрашивает он.

"По вит ми!" /Идите со мною!/, говорит он. И я стал "проводником" по городу, который достаточно знал.

Еще только забрезжил предутренний свет, как мы с конвоем вошли в громадный двор-рошу, окруженный двух-этажными кирпичными зданиями. Здание это, я вижу, впервые. Судя по всему — здание это было государственное. В громадном зале, куда нас ввели, построены нары и на них лежат одетые японские солдаты. Всюду яркие следы постоя азиатских войск и нарочитой

небрежности и чужому добру, которое приятно изгадить и уничтожить, чем разумно использовать. В прекрасном стильном дворе-парке с нарядными аллеями, цветниками, газонами, скамейками для отдыха - к деревьям привязаны лошади, которые топчутся по своему же "навозу", давно не убираемому конюхами. Острый запах аммиака стоит по всему двору и врывается в помещения. Тут-же солдаты-аннамиты жгут какую-то деревянную рухлядь, вытаскивая ее из зданий.

Мы в зало. В больших деревянных ведрах приносят в зало завтрак. Японские солдаты, взяв сколько им хотелось - показывают нам, дескать - можете есть все остальное. Этого "остального" оказалось больше, чем довольства. Тут был совершенно белый очищенный рис, жареная рыба и очень вкусная подливка. В шкафу были тарелки, ложки, ножи и вилки прекрасной европейской фабрикации. Мы берем посуду и завтракаем, наконец-то, как культурные люди. Едим с большим аппетитом и до-сыта. После еды, legionеры, по нашей традиции, немедленно же все чисто вымыли, положили в шкаф и подмели пол. Японцы на все это смотрят с некоторым удивлением. Legionеры легли спать и захрапели а я стал созерцать окружающее, стараясь узнать - где мы? Так прошел весь день. Нас никто не тревожил, словно и забыли про нас. Был отличный обед и к ночи нас перевели в другое здание, в глубине двора. Здесь очевидно, раньше были дортуары и столовая. Рядом большие кухонные помещения и склады для продуктов. Все помещение густо занято японскими солдатами, которые размещены с большим комфортом. У многих прекрасные матрасы и пуховые одеяла. Повсюду много прекрасной столовой посуды. Похоже, что это был какой-то привилегированный пансион.

Нам дали ужин. Это третья еда за день, отчего мы отвыкли. Все приготовлено очень вкусно и давалось в таком количестве, что мы не смогли всего съесть.

По своей всегдашней привычке - незаметно начинаю изучать окружающую обстановку. Много дорогого и нужного добра валялось повсюду с полной безхозяйственностью. Стопы прекрасной белой бумаги, много дорогих иллюстрированных журналов и книг на столах и полках - расброшены как попало, с вырванными страницами ради снимков и гравюр, понравившимся солдатам. На стенах художественные картины в дорогих рамках. Мало было смотреть на эти дорогие вещи, которые кем-то и когда-то с любовью и вкусом собирались, хранились, предназначались для большого культурного дела, а теперь - безмысленно портились, расхищались и злобно уничтожались.

Нам, четырём пленникам, отвели отдельный угол на нарах и мы уснули на чистом месте и со сравнительными удобствами.

Утром 21 апреля начались сборы в поход японских солдат. Я с интересом следил за тем, как они укладывали свои громоздкие ранцы. Туда попадало много не положенных воину вещей, вплоть до целых кусков материи. Потом им принесли большие ящики пива, содовой воды, лимонада, папирос, спичек и щедро разделили меж ними. Выпив все это на месте - команда ушла со своими ранцами и оружием. наших конвоиров со вчерашнего дня мы не видели. С нами остались два высоких худых солдата, наша новая, повидимому, стража. Один из них сержант с тонкими и правильными чертами лица - говорил немного по-английски. Когда привесли свежий номер информационного военного листка и он начал его читать - вдруг он пришел в бурный восторг, стал громко и радостно смеяться и размахивать руками. Потом крикнул мне по-английски:

"Элизе!... Ооо!... Рузвельт дайд!" /Елисеев!. Рузвельт умер!/"

"Как? где?.. когда?" забросал я его вопросами, желая знать подробности

"Наши потопили сразу 200 американских судов и Рузвельт с горю умер!" обясняет он и сует свою японскую газету, тыкая в нее куда-то пальцем.

Этот разговор, как-то, нас сближает. Я все время думал о судьбе своей семьи, оставшейся в Тонге. По слухам - все семьи французов пострадали от аннамитов. Это нисколько не исключало и моей семьи, как французского офицера, ушедшего в поход. У меня мелькнула мысль - попросить, этого, совсем не злого сержанта, через своего офицера, навести справки о моей семье.

"Гуд! Гуд!" /Хорошо, хорошо!/- соглашается он. Но где семья - я не знал. Пишу записку одному другу-французу, имевшего ресторан, прося его узнать о семье и угостить "подателя этой записки". Произошло что-то фантастическое. В 11 часов ночи он вернулся из отпуска и войдя - кричит от самой двери:

"Элизэ!... Летр, летр фор ю!" /Елиеев! .. Письмо, письмо для Вас! / и размахивает лоскутиком бумажки в воздухе. Не веря своим глазам - читаю записку от жены, что она с сыном в Ханое, квартира вся разграблена аннамитами, успела унести лишь часть вещей.

Я был счастлив. Счастлив тем, что семья знает, что я жив и здесь. От радости спрашиваю сержанта - как он доставил письмо и угостил-ли его мой друг-ресторатор?

"Оо!.. вэри гуд! Ай воз ит стэк, биг стэк энд дронк уайн! /Оо!.. очень хорошо! Я ел бифштекс, большой бифштекс и пил вино/. И добавляет, что ничего не заплатил и француз был "вэри гуд мен" /очень хороший человек/.

Со стороны этого сержанта был, поистине, подвиг для меня. Он рисковал перед своим начальством и ему не поздоровилось бы, если оно узнало бы об этом. Еще в Дьен-Вьен-Фу, когда был на ужине у капитана Намеки - я осмелился просить его дать телеграмму своему генералу о моей судьбе, для передаче жене. Он долго думал и потом сообщил, что военный закон запрещает это делать для пленного врага. Потом в Цитадели Ханоя, где были все пленные французы, около 6.000 - японское командование строго изолировало всех от сообщения со своими семьями, живущими там же в городе и совершенно недопускало передачи - ни писем ни продуктов. Вся их цель была, как бы морально парализовать невольника, убить его душу. А тут вот, сержант, пошел на запрещенное военным законом дело. Я до сих пор испытываю благодарность к этому "врагу", оказавшемуся таким добрым человеком. Думаю что и тут, наряду с английским языком, который и он и я знали плохо - сигнало то обстоятельство, что я был русский...

Второй наш страж, высокий исхудалый солдат, который сидел часами недвижим, точно каменное изваяние, поджав под себя ноги по-восточному на нарах. И когда я спросил этого сержанта о причинах такого странного поведения - ответ был - "Он очень тоскует по Родине".

Я видел больных этой "тоской по Родине" японских солдат еще на фронте, в джунглях, в лесу, во время привалов и ночевки. Да и сам переводчик там тогда говорил мне "о скуке", которая охватила его и других офицеров, когда сбрнун роту вернули вновь на фронт с пути в Ханой, куда она шла "на отдых". И мне стало ясно, что и Японская армия начинает чувствовать усталость от долгой войны; и в мою душу вошло сомнение в ее "непобедимость".

23-го утром, от нечего делать, вышел во двор, где солдаты-аннамиты кололи дрова для солдатской кухни. По природной слабости тела, лени и не ловкости - они плохо работали колуном. Мне захотелось "размятс". Подошел взял топор-колун, и стал "колоть их по-русски". Дрова летели как орехи. Все заахали от удивления. Японские солдаты подошли толпой, любуются ловкостью моей работы, обменивались поощрительными фразами в мой адрес.

Расколов десятка два поленьев, и считая, что достаточно "показал" аннамита "как надо работать" - я вошел в кухню и попросил разрешения вымыть руки. Глава кухни, какой-то очень важный японский "чин", провел меня к крану и предложил свое личное мыло. И когда руки были вымыты - он дружески похлопал меня по плечу и подарил это свое мыло. Но когда я поблагодарил его по-японски - он пришел в восторг.

Как мало нужно сделать, что бы расположить к себе другого человека и, даже, из врага - сделать друга.

За три недели пребывания в плену, мне удалось приобрести не мало друзей среди японцев: Капитан Намеки, доктор Батанаби, "монгол"-лейтенант и несколько сержантов, говорящих по-английски. Конечно, важно иметь возможность объясняться на каком-либо общем языке. Но еще важнее вести себя с достоинством и в соответствии с собственным положением.

Приближалось обеденное время, когда в наше помещение быстро вошел "мой сержант" и весело крикнул мне:

"Элизе!... Уи го!" /Елисеев!... Мы идем!/ и приказал всем нам четверем собраться в дорогу.

Сердце учащенно забилось. Я знал, что нас переводят в главный лагерь французских военнопленных, куда мы так стремились, в полной уверенности, что там жить будет лучше среди общей массы офицеров и солдат.

Я быстро оделся "по форме", насколько это было можно при плачевном состоянии моего обмундирования, т.е. - застегнулся на все пуговицы и опоясался офицерским широким поясом с ремнем через плечо. Замусоленные бриджи, желтые петры и развалившиеся грубые ботинки на гвоздях с тупыми носами - "украшали" мой офицерский мундир Иностранного Легиона, Французской армии. Легионеры были одеты совсем не по-военному: свех белья - темносиния шерстяная фуфайка с рукавами, нитяные темно-синие брюки внапуск на износившиеся ботинки, но все мы были в форменных летних тропических топи, с разрывающимся ядром на них, - эмблема Легиона.

Вышли во двор. Нигде и никаких часовых. С нами только наш сержант. На улице свернули за угол, к главному подъезду нашего здания, занимающего весь квартал и над ним я прочел надпись золотыми буквами:

"ЛИЦЕЙ АЛЬБЕРТА САРРО"

Так вот где нас держали!... Так вот в каком дивном помещении размещаются для временного постоя проходящая через город команды японских рот! Так вот почему здания, составляющие целый квартал - поразили меня роскошью своей обстановки, оборудования, картинами и библиотекой!...

Мне стало безконечно жаль, что такое большое культурное учреждение, занято японскими властями для постоя своих проходящих частей, т.е. - от дано на безконтрольное их самоуправство, на бессмысленное уничтожение и расхищение. Ведь все равно - кто-то, впоследствии, должен возстанавливать и обновлять все это. Может быть и сами японцы?

Совершенно не зная военно-политической обстановки, совершившийся в Индо-Китае по нашему уходе в поход, в Китай - я так тогда рассуждал. Но - все это перешло к новому правителю северного Индо-Китая, Хо-Ши-Мину, ученику красной Москвы.

Идем по улицам. Тишина и безлюдие, несвойственное большому аннамитскому городу. По пути встретили только одну пожилую француженку, как то не естественно посмотревшей на нас. Мы тогда еще не знали, что вся власть в Стране передана японцами аннамитами и они терроризировали все французское население, до убийств включительно. Но нам, почти на воле, и в столице всего Индо-Китая - приятно было идти без всякого конвоя.

В КАНЦЕЛЕРИИ. ВОЕННОПЛЕННЫХ.

Мы очень скоро подошли до столь знакомых нам ворот Цитадели, т.е. бывшей крепости, но теперь чисто военного квартала французских колониальных войск. Веду группу, собственно говоря, я, т.к. японский сержант совершенно не знает расположение города. Иду с ним рядом, позади три моих легионера. Но нас предварительно повели во дворец Начальника Тойкинской дивизии генерала Сабаттье. Оказывается, здесь расположен какой-то японский штаб. Остальные казармы, плацы, разные отделения — непосредственно за воротами кирпичной стены.

С чувством обиды "за павшую" власть Французского командования — поднимаюсь я на первый этаж.

В средней комнате, служившему нашему генералу гостинной, за двумя сдвинутыми столами, на простых деревянных стульях, сидит десятой полуинтеллигентных аннамитов в европейских тропических белых костюмах и два японских солдата. Это канцелярия военнопленных. Дали заполнить анкеты на французском языке.

Начальник всех этих писарей японец, хотя и в форме рядового солдата, но получивший, видимо, европейское образование, в чистой одежде и в "шлепанцах" без пяток на ногах — сидит верхом на стуле и, небрежно опершись локтями на его спинку, просматривает написанные нами анкеты. Затем обращается к легионерам на довольно чистом французском языке:

"А почему Вы, германцы, пошли служить во Французскую армию?"
Легионер Клевер, самый умный и находчивый из всех трех, смело и с улыбкой отвечает за всех:

"А что было делать?... Воровать идти, что-ли?... Тогда в Германии невозможно было найти работу. Есть было нечего... вот и пошли".

Японец пристально смотрит ему в глаза и, с разстановкой, произносит тоном глубокого презрения к ним:

Бу-
Бу-з-ав-маль фэ деван вотр Реи" /Вы плохо поступили перед своей Родиной/. "Нужно служить только своей Стране, и ни в коем случае другой!"

Он говорил так выразительно по-французски, так внятно и понятно, и с такой патриотической убежденностью, что даже мне стало неловко. Легионеры же совсем смутились и сидели молча.

"Бу завэ трэ маль фэ!" /Вы очень плохо сделали/, закончил он и отвернулся, показывая этим, что не желает с ними больше говорить.

Подошла моя очередь. Осмотрев меня с ног до головы, и взглянув на мою анкету — он поставил мне тот-же вопрос. Я ответил ему то-же, что и капитану Намеки, сделав ударение на то, что — как офицер старой Русской Императорской армии и участник 1-й Великой войны 1914-18 гг., и вооруженной борьбы с нынешним красным правительством в моем Отечестве — я сознательно выбрал себе место в рядах своих прежних союзников.

Он ещё раз внимательно посмотрел на меня, но без всякой враждебности, и промолчал.

Вошел новый конноир и нам приказано следовать за ним. Мы были полусвободны настолько, что выйдя на улицу — я успел написать несколько слов своей жене и сыну — где я нахожусь? и "мой приятель", сержант, уходя к себе — осмелился взять ее для передачи. Это-ли не радость!

Ровно через одну минуту времени — мы вошли в широкий двор Цитадели, окруженный кирпичной стеной и со многими капитальными 2-этажными французскими казармами.

В ЛАГЕРЕ ВОЕННО-ПЛЕННЫХ ФРАНЦУЗОВ.

Мы в Цитадели. Французские офицеры и солдаты, небольшими группами, гуляли без дела по огромному двору. Увидев нас, остановились и засыпали вопросами:

"Легионеры?... Откуда?... Где Вас захватили?!".. "Льеутенант Элизэ!" слышу я вдруг свою фамилию в общем хоре голосов и, оглянувшись на голос, узнаю лейтенанта-артиллериста нашего гарнизона в Тонге.

Редко в своей жизни я был так счастлив, как теперь, попав снова в среду европейцев, в среду своих товарищей по-несчастью-французов, - попав в столь родную и привычную мне военную среду. Но конвоир не останавливает нас и ведет в помещение внутреннего японского штаба. Здесь работают французские офицеры. Они дают нам для заполнения анкеты, с двумя дополнительными вопросами:

- 1.- Был-ли в боях против японцев?
- 2.- Был-ли ранен?

Без колебаний отвечаю на оба вопроса у т в е р д и т е л ь н о. Потом укажу - почему были эти два вопроса?

Все формальности закончены. Нас направляют в чисто французский штаб, что бы зарегистрироваться.

Здесь мы поступаем в полное распоряжение нашего же легионера, капитана Вольтера /из Эльзасс-Лотарингии/, который проявляет в отношении нас всех четырех, а меня в особенности, столько сердечности и заботливого внимания, сколько можно ждать лишь от человека, принадлежащего к одной и той же тесной семье полка, а полка Легионеров - в особенности.

Здесь же нам выдали кое-что из обмундирования, по куску мыла и, к нашей неопишуемой радости, выдали по цешому хлебу на каждого в 700 грамм. Хлеба мы не видели ровно 45 дней.

В лагере, все военно-пленные, были распределены по категориям:

- 1.- "Сюперьер офисье" - Высшие офицеры, по нашему - Штаб-офицеры.
- 2.- "Сюбалтер офисье" - Подчиненные офицеры, по нашему - обер-офицеры.
- 3.- "Су-з-офисье", т.е. унтер-офицеры и
- 4.- Рядовые солдаты, куда входят капралы и капрал-шефы.

Капитан Вольтер повел меня во 2-й этаж, в помещение для обер-офицеров до капитанов включительно, где представил меня старшему капитану. Здесь мне отвели железную кровать с пружинной сеткой и матрафом, две простыни одеяло, подушку и москитник. Сбросив свой "жуткия вещи" - немедленно же отправился принять свой первый горячий душ, - первый за 45 дней похода и плена - "душ с мылом". Мылся я долго и всласть, после чего сразу же почувствовал, и физическое и моральное облегчение. Я почувствовал себя, как бы, помолодевшим и снова нормальным человеком, вернувшимся в нормальную человеческую жизнь.

Долгия лишения и моральные удары, полученные мною во время гнетущаго душу плохо организованного отступления, и физические страдания, и пережитое унижение в плену у презирающих нас японцев - притупили во мне многие навыки и чувства, присущие культурному человеку в обычной обстановке. Мне трудно было их сохранить в неприкосновенности в той дикой обстановке и при том подавленном состоянии духа, в которых я находился ровно полтора месяца.

Остаток этого столь памятного для меня дня прошел в разговорах,

давших мне возможность ориентироваться - и в новой обстановке и в рассказах офицерам о собственных приключениях. Но усталость взяло свое и я рано уснул сном измученного человека, на удобной кровати, под чистыми простынями и совершенно голым...

Проснулся очень бодрым. Было уже совершенно светло, когда пехотный рожок заиграл "общий под, ем" для всего лагеря. Начинался новый этап в моей жизни...

Деньщики, один на шесть офицеров, принесли горячий черный кофе и дневной рацион хлеба в 700 грамм. Кофе - одна чашечка, чуть сладкий, но я выпил его с большим удовольствием. Его было, конечно, очень мало и хотелось еще. Деньщиком нашей группы оказался бывший сержант нашей роты, немец К о х, - разжалованный при мне в рядовые. Он иногда давал мне кофе больше, чем другим офицерам колониальных войск, чувствуя духовную близость ко мне, как к иностранцу во французской армии, которым был и он.

Пол-часа времени, полагаемых для туалета - было больше чем достаточно и за это время - я успел, на свежую голову, записать в свой дневник кое-что.

Первые впечатления от лагеря были приятны. Командир нашего офицерского взвода, он же и старший комнаты, капитан колониальных войск Гужон - ознакомил меня с правилами внутреннего порядка. Впрочем - он висел тут же на стене, под заголовком - ПОРЯДОК ДНЯ. Он был таков:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Общий под, ем в 8 ч. | - Конец работы в . . . 18.30. |
| - Поверка в 8.30. | - Ужин в . . . 19.00. |
| - Сбор солдат на работу . 9.30. | - Вечерняя поверка в 20.00 |
| - Обед в 12.45. | - Тушение огня и спать - 23.00 |
| - Отдых после обеда до 16-ти | |

Просмотрев это расписание дня, я нашел, что такой вольготности не было у нас и до похода.

Еще я узнал, что в Цитаделе, в качестве военно-пленных, находятся:

Один генерал, около 100 старших офицеров, около 350-ти младших офицеров и около 4.500 сержантов и солдат, т.е. половина французских войск, находившихся в северном Индо-Китае. Из второй половины, около 2.000 ушло в Китай. Стрелки-аннамиты, служившие по найму в колониальной Тонкинской пехотной дивизии - были демобилизованы и разошлись по своим селам. Несколько десятков погибло в столкновении с японцами.

Старшие офицеры жили изолированно. Генерал в отдельной комнате. Поверка проходила у них совсем не по-военному. На нее они выходили в спальнях пижамах, без строя и от них не требовалось никаких внешних признаков военной субординации перед японским сержантом, помощником коменданта Цитадели, которым был японский лейтенант.

Младшие офицеры, по своим комнатам, составляли "взводы", до 20-ти человек в каждом. Подпрапорщики и сержанты составляли свои взводы, совершенно отдельно от рядовых солдат. В последние входили и капрал-шефы и капралы.

И вот, во время двух ежедневных проверок - утром и вечером - вся эта масса воинских чинов, выстраивалась глубоким сомкнутым строем взводами против взводов во всю длину двора, заворачивая потом куда-то за угол, в ожидании появления японского сержанта, которого сопровождали со списками и с приказами французские офицеры нашего французского штаба пленных.

Кроме офицеров и сержантов - все остальные военно-пленные были в очень потрепанном "тропическом" одеянии - рубашки-безрукавки и "шорты" до колен. Вид у всех был далеко не воинский. Чувствовалось, что "плен" подломил людей, и морально и физически. А если добавить к этому, что мало кто брил бороду и стриг волосы на голове, то общее впечатление от зрелища "военной поверки" было гнетущее. Сердце сжималось от унижения, когда при приближении японского сержанта, заслуженные бородатые французские 40-летние капитаны, командиры офицерских взводов, командовали своим подчиненным "ГАРДЕ ВУ! /Смирно!/ и офицеры принимали соответствующее положение в строю, словно они были рядовыми солдатами... А японец, с имной на лице неограниченного властелина, и с подчеркнутой безцеремонностью - осматривал наши офицерские ряды.

С присутствием мне интересом ко всему "новому" - я наблюдал за той реакцией, которую вызвала в душах строя эта оскорбительная для нас "новизна" нашего положения. И если офицерские взводы держали себя перед японским сержантом достаточно свободно, независимо и гордо, не слишком скрывая своего к нему, и ко всему японскому, презрения - то с сержантскими взводами, и в особенности со взводами рядовых солдат - было много хуже. Там чувствовался определенный страх перед жестоким начальником, т.к. за малейшееслушание, за небрежную позу в строю - японец подходил к виновному и, грозно рыча что-то нечленораздельное - отвечивал громкую пощечину....

Такая картина было оскорбительно наблюдать, даже, со стороны, не имея возможности вступить в защиту своих солдат. А о том, что переживали пострадавшие - можно было судить только по выражению их печальных глаз...

За три с лишним месяца своего пребывания в Цитаделе - я пришел к заключению, что сам по себе этот японский сержант не был злым человеком. Он был отличный служака и хороший солдат в своей армии и требовал от пленных соблюдение "порядка", обязательного для всех армий, но в том виде какой существовал в его, японской. Он не мог, он не имел права "спускать" нарушение этого порядка, почему и пускал в ход репрессии. А нарушений, к несчастью, было много. И делались они не по злему умыслу, а в силу безпечности и легкомыслия, столь свойственного характеру французских солдат.

В основе лежало совершенно различное понимание французами и японцами "духа воинской дисциплины".

У японцев она выражалась "в слепом повиновении воле начальника", и с отчетливым внешним выявлением воинской субординации. Но у французов - солдат оставался "гражданином", с известной долей независимости поведения и мнений. Французский солдат мог не соглашаться со своим начальником и доказывать ему "свою правоту". Такое понятие не только что возмущало японцев, но она им была совершенно непонятна.

- . -

Я изучаю весь лагерь, т.е. офицеры на работы не назначались. Вижу - на стенах больницы афиши на французском языке. Подхожу и читаю:

"СООБЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩЕЕСЯ ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ИНДО-КИТАЯ".

"Согласно соглашения о совместной обороне Индо-Китая, заключенного между Японией и Францией - Японские власти непрерывно принимали меры для защиты страны в сотрудничестве с Французскими властями и Французской армией в Индо-Китае. Однако, по мере того, как развивались военные события - Французские власти в Индо-Китае стали проявлять все большую и большую нетерпеливую благожелательность к намерениям наших врагов, и пытались установить тайную связь с последними.

"Таким образом, они не стремились более проявлять свои усилия для обеспечения защиты страны от нападения англо-американцев.

Понимая всю ошибочность такого поведения, поняв теперь свои ошибки - представители Японии безпрестанно заявляли и возобновляли снова свои протесты, но каждый раз безрезультатно и, наконец, обратили внимание Французских властей, что:

- При настоящих обстоятельствах, Японская армия видит себя вынужденной защищать Индо-Китай одними своими силами против врагов, которые сейчас находятся уже в непосредственной близости Страны.

- В целях обеспечения защиты Индо-Китая - Японская армия желает изъять из Французской администрации враждебные Японии элементы и оказать необходимую помощь местным властям, одушевленным желанием сотрудничать с Японией, для достижения вышепоставленной цели.

- Вышеупомянутое решение продиктовано неоспоримыми, с военной точки зрения, намерениями - будет с точностью ограничено.

- В таких условиях Японское Правительство заявляет, что оно не только что не имеет никаких территориальных видов в отношении Индо-Китая, но и не пожалеет никаких усилий, что бы оказать помощь народам Индо-Китая, которые желают защищать себя против врагов Стран Восточной Азии.

- Японское Правительство определенно заявляет, что оно никогда не перестанет сообразовывать свои действия с декларацией о создании Великой Восточной Азии, опираясь всецело на стремление к независимости народов Индо-Китая, столь долго, и вплоть до сегодняшнего дня, находившихся под гнетом".

Рядом наклеено заявление Главнокомандующего Японской армией, следующего содержания:

"Решения, недавно принятые Японской армией - совершенно идентичны /одинаковы/ с теми, которые ясно изложены в официальном сообщении Японского Правительства, как вытекающие единственно из отсутствия искренности у Французских властей в Индо-Китае, при выполнении соглашения о совместной защите Страны.

- Японская армия, при данном военном положении - не требует сотрудничества от населения Индо-Китая. В соответствии с нашими первыми действиями по обеспечении безопасности населения и восстановлению общественного порядка - силы для защиты Индо-Китая будут быстро подкреплены.

- Само собою разумеется, что Японская армия не имеет ни каких намерений нарушить права Автономного Правительства, которое оно почтительно поддерживает своими силами, как и его приказы и распоряжения его административных органов, относящиеся к личности тех чиновников, которые пожелают сотрудничать с армией. Что же касается жителей, в особенности тех, кто сотрудничает с нею - то их жизнь, их имущество, как и их права и интересы - будут защищены. Они могут таким образом питать полное доверие к Японской армии и посвятить себя работе по воссозданию Нового ИНДО-КИТАЯ, вместе с чиновниками и членами Высшего Совета..

- Японская армия не пожалеет усилий для осуществления планетного желания независимости, столь дорогого всем народам Индо-Китая.

"В то же время, оно заявляет, что Армия решила выполнить в точности свой долг, выпавший ей на долю по защите Индо-Китая, и сотрудничеству в будущем с упомянутыми выше народами, помощи их искреннему национальному движению, в соответствии с принципами, изложенными в декларации Великой Восточной Азии."

- * -

Мы ничего не знали "о высокой политике" в Индо-Китае, а я, как иностранец, в особенности. И только теперь, из содержания этих двух деклараций - мне стало понятны причины "военно-политического конфликта". И на душе стало совсем не весело. Из деклараций вытекало, что Япония решила создать "Великую Восточную Азию", в которую включили уже и Французскую колонию Индо-Китай. Теперь мы оказались официальными врагами и японцев и всего населения Индо-Китая. А каково настроение последних - мы не знали.

В остальном же, для меня лично, наступил период полного отдыха после 45 дней, проведенных в джунглях. Единственное, что его нарушало, было недостаточное питание.

Кухня была общая для всех, независимо от рангов. Нам отпускался уменьшенный паек японского солдата, и в продуктах низшего качества. Вместо риса - давали черный, почти сырой хлеб, смесь ржаной и кукурузной муки. Мяса - 25 грамм в сутки. Овощи только местные, и малопитательные и в малом количестве.

Распорядок дня совершенно не стеснял нас. В своих казармах и во дворе - все было абсолютно свободно в передвижениях. Все жили, группировались по своим полкам, батальонам, ротам и батареям. Подавляющее число офицеров и сержантов, явились "в плен" по приказу японского командования, прямо из своих квартир, поэтому они хорошо были одеты, имели запас белья, деньги, консервы.

Дело в том, что Французское командование ожидало капитуляцию японцев. Чувствуя свое бессилие, и не желая нести в бою ненужные потери в людях, но все же, что бы сохранить чувство чести - негласно приказано было широко разрешить идти в отпуск. Не все это знали. Оставшиеся в Цитадели, как выяснилось, оказали упорное сопротивление при атаке японцев. Пята осады стен Цитадели, потом казарм. Во дворе действовали и танки, передвигаясь - переползал с одного двора, в другой. Несколько их так и остались во дворе, при нас, подбитые, развернутые от попадания снарядов "прямой наводкой".

Сопротивление продолжалось полтора дня. Потом японцы ворвались во двор, в казармы и в рукопашной схватке не щадили многих, сдавшихся. Погибли и они: в центре двора была общая могила японских офицеров и солдат, погибших здесь. Французы не особенно чтили погибших врагов. При их власти - не обращали на нее внимание, а когда временно власть перешла к французам после капитуляции Японии - место это было "сравнено" и на могилах погибших врагов - была устроена футбольная площадка....

Случайно, в Цитаделе была команда легионеров, где было много русских. По их рассказам - они доблестно сражались, потеряв несколько человек убитыми.

Хуже всего было положение рядовых солдат. Они явно недоедали. И их категории скоро причислился и я, офицер, пока единственный, попавший сюда "с поля брани" - обтрепанный и совершенно без денег.

Человек чувствует себя особенно несчастным тогда, когда он регулярно не пополняет свой желудок.

В самом жалком положении были солдаты. Все они спали на голых нарах, построенных в два этажа, а укрывались - что Бог послал.

Спасало всех теплое время года в полутропической стране. Днём было тепло и желавшие могли неограниченно пользоваться душем в течении всего дня. Везде было электрическое освещение. Казармы жили своей жизнью, словно и не было боев. И только изрекошетинны стены пулями, говорили, что

произошла большая драма здесь..

Все офицеры имели кровати с удобствами для сержантов мирного времени. Сохранилась большая библиотека гарнизона. Многие читали. Другие играли в карты, в бридж. Вообще же, никакого контроля не было - кто и чем занимается. Все жили в своих старых казармах, но только в худших условиях чем до войны.

Наряду с хроническим недоением, большим лишением было запрещение сношения с внешним миром. "Цитадель" - это были казармы для всего большого гарнизона столицы, построенных на месте бывшей старинной крепости и обнесенных кирпичной стеной выше роста человека. Они находились в центре аннамитского /старого/ города. У офицеров и сержантов, семьи жили тут же, рядом, больше в европейской части города. Они легко могли бы попутать пленникам передачей еды, которой город изобиловал. Все семьи жили здесь зажиточно и с удобствами. На базарах всего было вдоволь. Но взгляд японцев на пленных, сильно отличался от взгляда европейцев. По их понятиям, пленный есть "раб", которого надо держать строго и мало беспокоиться о его жизни. Мы же, французы, были им вдвойне ненавистны, и своей культурой и тем, что были "колонизаторы" тех стран, которые они решили освободить от насильственного европейского протектората и влияния, что бы затем включить в "Великую Восточную Азию", под их руководством, главенством. Поэтому, не читая нам особенных припозвонов внутри лагеря - они окружили нас строгим кордоном от остального города, недопуская никаких сношений с ним. И только потом разрешили отправки и получения от семейств одного письма в две недели, через их штаб и по заранее определенному формуляру, обязательному для всех.

Был издан и прочитан перед фронтом приказ, по которому - "за нелегальное сношение с городом - полагалась смертная казнь".

После перенесенного мною в джунглях - я несколько не сомневался, что угроза будет выполнена без колебаний и в полном сознании своей правоты.

Но несмотря на это - "сношения" некоторыми изредка поддерживались. Солдаты, выходящие на работы в город под караулом - приносили вести, а иногда и коротенькие записки на клочечке бумаги от жен офицеров, толпившихся возле работающих "ювних солдатиков". При всей строгости военной дисциплины в японской армии, некоторые часовые допускали послабления, или старались "не видеть" того, чему они обязаны были препятствовать. Солдатское сердце, видимо, одинаково во всех армиях: - тоска по дому у того же увезенного за тридевять земель и морей японского солдата - толкала его лучше понимать душу пленного француза, тоже разлученного со своей семьей и домом, чем их офицеры. Но и таких случаев было очень и очень не много.

Вобщем же, в сравнении с тем, что стало потом - жизнь в нашем лагере, месяца полтора после моего прибытия - была довольно свободной. Для меня же лично - это был отдых.

Изредка, через уборщиков отхожих мест, попадал табак и газеты. О капитуляции Германии мы узнали устно. Это известие ободрило всех. Не было уже сомнений, что будет разбита и Япония. И вот, с этого дня, наше положение стало ухудшаться. Пленных стали всячески притеснять, придирались и вмешиваться в их внутреннюю жизнь.

Как я указал раньше - большинство пленных отрастили бороды и волосы на голове. Вышел приказ: - во избежание заражения вшивостью - всем капралам, солдатам, метисам из туземцев - в 24 часа сбрить бороды и остричь коротко волосы на головах.

Среди французских колониальных войск, из их колоний и протекторатов, были негры, сенегальцы, индусы. А через 2-3 дня это коснулось солдат и сержантов-французов. А потом и всех офицеров.

Произошла метаморфоза. Прибыв в лагерь - я уже застал офицеров с

черными густыми бородами, за которыми они тщательно ухаживали. Вид их был солиден и красив. Это были настоящие средневековые галлы-воины, которых я видел на картинках в учебнике Истории средних веков. Перед капитанами с такими красочными черными бородами с проседью - невольно делался респект. Как вдруг, за одни сутки - "все помолодели", сбрав бороды и сняв волосы на головах. Все стали выглядеть чище и свежее и оказались совсем молодыми офицерами, которым я годился, по летам, в отцы... Я был разочарован... Красота средних веков исчезла.

Что характерно: - офицеры не хотели брить бороды, доложив через свою власть что - "нет бритвенных принадлежностей!"

На другой день, на утреннюю поверку, некоторые вышли "с бородами". Увидев их, унтер-офицер "зарычал", одного капитана толкнул в грудь, указывая на бороду и предупредил, что "завтра будет хуже!".

На следующий день, в лагерях не было ни одного человека "с бородою".

Японцы настойчивы. Приказ они выполняют точно. За невыполнение - репрессии, до физической расправы с ослушниками - следуют немедленно же. Они чистоплотны и аккуратны. Все у них, включая и офицеров, коротко стригут волосы на голове и бреют бороды, строго следя за чистотой и гигиеной тела. Все это введено у них в повседневный культ.

Следующим этапом "зажима" было требование выходить на поверку одетыми строго по-воински. Это требование было распространено и на "старших офицеров". Теперь они уже не могли выходить на нее в пиджаках. Их обязали подавать команду "Смирно!" и принимать соответствующее положение в строю, при приближении японского сержанта для проверки. Это было явным унижением их достоинства.

Затем приказано было отдавать честь всем японским солдатам, проходящим во дворе. Впрочем, нам офицерам, было сделано снисхождение: - им обязаны были отдавать честь лишь их сержантам, проходящему караулу и часовым на постах. Эти распоряжения обидно ударили по самолюбию, но не подчиниться им было невозможно. Особенное же почтение надо было оказывать при смене часовых.

Один капитан, при подобной смене, стоял неподалеку и курил трубку. Часовой быстро подошел к нему, выбил изо рта трубку и поставил его тут же на колени, на цементовой площадке. Несчастный простоял ровно час, без топи, без рубашки, голыми коленями, не смея двинуться, т. е. часовой, стоя на своем посту - вупор следил за ним.

У старших офицеров, один из них, стоял в строю недостаточно по-воински, когда их проверял японский сержант. Последний подошел к нему, что-то крикнул и схватив рукой за гортань - толкнул назад. Штаб-офицер, оскорбленный, сделал из него "шаг вперед". Сержант-японец схватился за штык в чехле, готовый обложить его и пустить в ход. Оба зло вперились глазами друг в друга, изучая границы дозволенного. Японец победил, приказав стать в строй "как надо".

Офицеры нашего взвода, по команде своего же капитана, друга по комнате, при приближении этого сержанта, сопровождаемого своими же французскими офицерами - небрежно стояли в строю и, даже, шопотом острили по адресу японского сержанта, помощника коменданта лагеря. В особенности изощрялся мой сосед по строю, в задней шеренге. Я дружески его предупредил, что - может быть большая неприятность. И вот, как часто, после команды "Смирно!" - он, взяв руку под козырек - но ноги разставил. Сержант заметил. Растолкая локтями передний шеренги и подойдя к нему, он ткнул пальцем на его ноги и со всего размаха нанес звонкую пощечину капитану, от которой его голова склонилась на-бок, но... одновременно - пятки каблучков стали вместе. И все эти "картинки" происходили на виду всех пленных.

К чести японцев, надо подчеркнуть, что на наше отдание им чести, в особенности часовому на посту - они отвечали почтительно и отчетливо.

Как-то после обеда, в тропическую жару, я стоял на широком плацу, в топи, в шортах до колен, в сандалиях. Проходил караул после смены. Расстояние до него было такое, что можно было чести и не отдавать. "А вдруг придерешься разводящий?" мелькнула мысль. Они проходили мимо меня в облическом направлении, по диагонали плаца, удаляясь от меня. Что бы не наклонять неприятности - я взял руку под-козырек. И что-же? Капрал скомандовал что-то своим и все они отчетливо повернули головы в мою сторону, отвечая на мое воинское приветствие. Поразительная воинская воспитанность!

Для поднятия дисциплины - приказано было всем нашить галуны, в соответствии с рангом. Потом устроили "Ревю", т.е. проверку всех вещей. Нужно было видеть картину, когда 5.000 людей расположились по двору во много рядов, и выложили все свое, фактически, "барахло", словно на базаре. Осматривали японские офицеры и сержанты. Осматривали очень тщательно. С любопытством они знакомились с содержанием разных баночек и коробочек, рылись в наших личных вещах, ища в них "что-то секретное", подобно тому, как ребенок рассматривает вещи старших, или дикарь рассматривает вещи европейца, случайно попавшие ему в руки. Это было, и смешно и совершенно неуживо. К их чести надо признать, что ни у кого ничего не было отобрано. Интересовались они часами-будильниками. Сержанты долго вертели их в своих руках, видимо ожидая, что их им подарят. Но французские офицеры этому не догадались...

Японские офицеры носят сапоги русского образца. У некоторых офицеров-легионеров были отличные сапоги и японские офицеры с интересом их рассматривали. Забавно было наблюдать этих честных и не искушенных людей и в офицерском звании.

- • -

От хронического недоедания, началось массовое заболевание среди солдат. Люди умирали ежедневно. Непростительное отношение было японцев к усопшим. Похоронную мессу совершали во дворе. Французы католики. Принято думать, что французы мало верующие. Это не так. На отпевание приходили сослуживцы. Среди них были офицеры и солдаты-священники. Духовенство во Франции отбывало воинскую повинность, как и все граждане страны. На солдатской гимнастерке, поверх, они всегда имели медный крест на такой же цепочке, размером дюймов в пять. Вел себя скромно. Они и отпевали умерших. А нет - капитан читал молитву, все повторяли ее вслух. Все это совершалось коротко, но очень чинно.

После мессы, за ворота крепости позволялось выйти за гробом только ближайшим начальникам. Японский же караул у выхода, пропускал шествие мимо, небрежно сидел на скамейках, свидетельствуя этим, и свое равнодушие и презрение. Здесь ждала похоронная колыхага, запряженная парой кляч. Как только гроб был поднят на нее - аннамиты увозили усопшего на кладбище, а сопровождавших безцеремонно водворяли опять во двор. О воинском погребении не могло быть и речи. Это всех очень огорчало и оскорбляло, и воинское и религиозное сознание. Все это я испытал на себе, проводив нескольких умерших наших легионеров. Вид их от истощения был непередаваемо ужасен и угнетающе действовал на мораль живых.

Японские команды, на нашем дворе, производили упражнения в штыковом бое, на наших же глазах

В полном боевом снаряжении, с тяжелыми ранцами за спиной, в металлических масках - они производили устрашающее впечатление своими дикими гортанными криками и свирепостью рукопашной схватки. В этих упражнениях они действовали очень энергично и ловко. Европейскому солдату трудно было бы устоять против японца в такой штыковой схватке. Японец легко идет на

смерть. Офицеры же, держа свою пашку-палаш двумя руками как винтовку со штыком, прыгали через окопы, что то дико выкрикивая - пронизывали чучело насквозь, бежали дальше до следующего... Смотря на это со 2-го этажа - становилось жутко от подобных забав...

Производились и другие военно-спортивные упражнения, на которые японцы выходили совершенно голыми, с легкой подвязкой между ног.

Наблюдая их ловкость - я искренне любовался и восхищался. Армия у них поставлена прекрасно. Она является отличным союзником и страшным врагом.

- . -

Несколько наших солдат самовольно, через стену, отлучились в город, чтобы повидать своих "дам-аннамиток", легко живущих со всеми европейцами в качестве жён, хотя бы и на время. Их поймали. Со связанными руками позади, привязанные друг к другу веревками за шеи в одну шеренгу - их долго водили под караулом на-показ по всему двору. При этом грубо толкали в спины, угрожали штыками, а потом повели в город на военный суд. Что с ними стало - нам не известно, но после этого, охотников бежать уже не было. Физическая расправа у японцев - вещь обыкновенная, что французам особенно пугало, как недопустимое оскорбление и унижение личности. Но в тоже время, у японцев чувствовалась врожденная честность, порядочность и чистоплотность - физическая и моральная.

Два легионера моего взвода, убирала квартиру коменданта лагеря, японского лейтенанта - выпили его сладкий кофе и стащили пару ботинок. Нужно было видеть его гнев!

Он связал виновного веревкой руки назад и за шею так, что тот не мог делать движения. Вызвал командира роты капитана Вольтера и меня. В страшной ярости он рычал на него по звериному на своем языке. Потом снял с ноги свой сандалий на гвоздях и несколько раз ударил им по физиономии легионера. Ударял не сильно, но устрашающе, для вразумления. Мы офицеры, специально вызванные по этому случаю, присутствуя при этой сцене - молча, тяжело переживали свое бессилие. Нам было жутко и за самих себя...

Негодование офицера было понятно. У японцев, слуга с величайшей преданностью сделает все для своего господина, а наши легионеры - его обокрали, успев прослужить ему всего лишь несколько часов времени.

С точки зрения морали, а воинской в особенности - лейтенант был прав.

- . -

Среди французских офицеров была исключительная корректность между собой. Капитаны, старшие комманданты - были только искренними друзьями над своими подчиненными офицерами. Но что было странно - на обедах и ужинах - пищу из общего блюда брали "по старшинству чинов", не стеснясь в выборах лучшего кусочка мяса в 25 грамм каждый, и... на весь день.

Во Французской армии нет чина штабс-капитана. Лейтенанты, прослужившие в этом чине, кажется 4-х лет - производятся в капитаны, но по удостоению начальства, не считаясь со старшинством. Поэтому у них производится "отбор лучших", для занятия должности командиров рот. Они являлись авторитетными офицерами, с которыми считались.

Жили же разбившись по своим полковым семьям, в кругу старых сослуживцев и хорошо знакомых людей. Жили очень дружно со свойственной французской корректностью во взаимоотношениях и уважением к личности другого, строго считаясь с рангом каждого из окружающих. Офицеры и сержанты были освобождены от всяких работ и располагали своим временем, как им было угодно. Лишь несколько капитанов работали при японском штабе по управлению лагерем. Это были прекрасные люди и отличные офицеры, видевшие свою роль исключительно в том, что бы служить смягчающим буфером между японским командованием и заключенными. Их поведение в отношении своих товарищей было безупречно. Все считали, что они приносят себя в жертву ради товарищей и своего Отечества. Но для этого надо иметь культурный мозг

и доброе сердце, что бы понимать это.

Те, кто имел деньги и достаточное количество одежды и белья, как большинство чинов тех гарнизонов, которые капитулировали без боя - они жили без лишений, умудряясь через своих солдат добывать добавочные продукты и, даже, сласти. С открытием же в лагере кооперативной лавки под руководством французских офицеров - для чинов с деньгами, вопрос питания потерял всякую остроту.

Всех удивило, как и обрадовало, что японцы, много времени спустя, стали выдавать жалованье пленным, но только офицерам, по чинам и по ставкам своей армии. Удивление вызвало и то, что жалованье их офицеров было так малое! И оно было таким скромным, что младшим чинам мало оказало поддержки, т.е. цены на продукты в кооперативе были высоки.

В ЛАГЕРЕ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Реальность же складывалась все более и более скверно для пленных. Капитуляция Германии вызвало вскоре резкое ухудшение всего нашего положения. Вначале японцы приказали посылать на работы и унтер-офицеров, вместе с рядовыми солдатами, а потом попытались принудить к этому и офицеров. Нашим французским командованием лагеря были представлены основательные доводы и приказ их был отменен, но японцы нашли другой способ к этому.

На работы в джунгли были отправлены много сотен солдат и сержантов, но под командованием французских младших офицеров. Отправляли, почему-то, спешно и за много десятков километров от Ханоя. Это всех обезкуражило и внушило тревогу. Это распыление пленных и изолированная жизнь в джунглях где люди целиком были во власти японского начальника, не имея возможности кому бы то ни было пожаловаться и искать защиты - не обещало ничего хорошего.

За первой "пробной партией" - последовала отправка почти всего лагеря, за исключением старших офицеров, больных, слабых здоровьем и администрации лагеря.

1-го августа, с отрядом под цифрой "З.Б. /Три Би/, отправленном в порядке чрезвычайной спешности - попал и я, хотя по своему возрасту и не подлежал. Но я был "иностранец" во Французской армии и этого было достаточно... На значение делал французский лагерный штаб.

На восьми машинах-грузовиках, по 30-ти человек в каждом, т.е. переполненных до отказа, под усиленной охраной - выехали в ночь не известно куда? Ехали долго, при чем многие из нас могли лишь стоять от тесноты. У всех скромные пожитки. После полуночи, миновав какой то горный хребт-перевал - все были высажены в дремучем лесу. Офицеры легли вповалку в большой военной палатке без стен, просто, под каким то парусиновым куполом, а солдаты прямо на голой земле, под открытым небом, на полянках, в лесу. Ночью разразился ливень. Все промокли. Выйти и искать убежища от дождя, запрещено. В таком положении все ждали утра, в полной неизвестности - где мы?

Утром 2-го августа, весь наш отряд "Три Би" в 250 офицеров, сержантов и солдат, под проливным дождем, принялся строить себе сарай из бамбука, покрывая его листьями тропических растений. Мы начинали жизнь первобытных людей, или новых Робинзонов Крузо. Наш офицерский взвод в 20 человек, видимо, для большого унижения - был назначен делать дорожки между бараками японских солдат и исправлять "их уборную". Протест был равносителен самоубийству... Сделали. А на следующий день, этому же офицерскому взводу приказано было построить большую уборную для всего нашего отряда. Но это были только "цветики"... Впереди нас ждало гораздо худшее.

Днем и ночью шли непрерывные дожди, будто и само небо было против нас.

Повсюду образовалась липкая глиняная грязь. Все мокрые. Сушить одежду и обувь было негде. Работали весь день, не считаясь с непогодой. Солнце не выглядывало. Скоро обувь у большинства пришла в полную негодность.

Баракы были построены на скорую руку. Мы торопились, что бы иметь "свой угол". Баракы были "тропические" т.е. без стен, в одной лишь крышей из листьев. Посредине длинная примитивная нары из бамбука "голова с головой". Подстилка на них так же из листьев. Захваченные с собою одеяла были единственной спальной принадлежностью. Количество багажа, который могли взять с собою - был ограничен до минимума. Все и во всем имели нужду. Общая кухня от дождя была устроена в какой то пещере-дупе, которую однако, заливала вода. Мокрое дрова не горели. Из дымной и чадной кухни-костра получали горелый и недоваренный рис без приправы жиров. Промокшие на работе люди не только что не могли высушиться и согреться на ночь, но не могли утолить и свой голод, так как пища была совершенно не питательна и не с,едобна по своему приготовлению. И ея было так мало....

От истощения и простуды люди стали болеть сразу-же. Медицинская помощь, при изощдении больных в тех же бараках под дождем, при отсутствии медикаментов, была бессилна. В первые же дни, число больных дошло до тридцати процентов наличного состава отряда.

Все поняли, что попали в совершенно безвыходную обстановку и что единственное наше спасение - продержаться до разгрома Японии. Ни на какое милосердие со стороны японцев, рассчитывать не приходилось.

Физические расправы со стороны японских сержантов-надсмотрщиков стали не только что обычным явлением, но входили, видимо, в самую систему обращения с пленными. Весь режим на работах был, явно, построен на том расчете, что бы пленные вымерли бы возможно скорее и своею смертью...

Начальником лагеря принудительных работ был худенький тщедушный лейтенант 43-х лет, как он нам сказал - призванный из отставки. Сам по себе он был, видимо, добрый человек, понимавший наше положение и склонный пойти нам навстречу. Но несчастье нашего отряда было в том, что наш собственный французский начальник, пожилой капитан Шаррамона, выдававшийся шахматист и бриджист, человек хорошей культуры, оказался совершенно пассивным и робким человеком. Он целыми днями прсиживал в нашем медицинском барачке закутавшись от сырости в свою шинель и безпрерывно курил. К тому же - на весь отряд был один переводчик, русский легионер, так же вялый и простой парень из Сибири, который был совершенно пассивен, мало дисциплинированный и плохо знавший японский язык, знал то и свой русский - по-деревенски. Поэтому-то, наши просьбы и пожелания, передаваемые только через него - слабо доходили до мозгов и сердец тех японских начальников, от которых зависела наша судьба. Мы тонули в полной беспомощности и изолированности в джунглях ото всего остального "Света Божьего" и не находили выхода из своего трагического положения. А японская охрана, в связи с капитуляцией Германии Гитлера и японскими неудачами на фронте, свирепела с каждым днем.

Порядок дня был установлен, точно нарочно, такой, что бы как можно сильнее изнурять пленных.

Общий подъем был в 5 часов 30 минут утра, еще в полной темноте ночи. Под постоянным дождем в горах, люди, переставшие походить на солдат, по скользкой липкой грязи, выходили на шоссе и строились там по-звонно. Так, 250 человек нашего отряда "Три Би", расбросанные по своим, тщетельно замаскированным от взоров американской авиации, баракам, выстраивались на протяжении одного километра и ждали, пока японский сержант медленно обойдет и проверит численный состав всех. При этом, ему командовали по-военному "Синрио!" После проверки расходились по своим баракам и через пол-часа получали по небольшой чашке горячего кофе, или чая, без сахара.

В 7.30 снова выстраивались там же и под командой своих офицеров и японских надсмотрщиков - уходили в лес на работу до 12-ти часов дня.

Скучный обед. Стоим в очередь, в грязи, с кружками, с тарелками у кого есть, с жестянками из под консерв... Жадно смотрим, когда нам наливают какую-то бурду... Тоненький листик мяса с отталкивающей плевой в 25 гр. проглатывается незаметно для вкусовых ощущений... И все это производит-ся тут-же, стоя в грязи, т.к. негде сесть...

До 14-ти часов отдых. Потом снова на работу в заросли, ровно до 18-ти часов. В 19 часов ужин, но он гораздо хуже обеденного... В 20 часов вечерняя поверка, с которой расходились в полной темноте по своим печальным баракам из бамбука "без стен", что бы улечься спать, без огня, в свое сырое и холодное ложе, под струйками, протекающего сквозь листву крыши, дождя.

Звери в этих джунглях жили с большим "комфортом" чем мы. А главное - они были на свободе... Хотя они и считались существами "неразумными". Мы же были люди, и люди "белой" Кавказской расы, т.е. европейцы.

Первый случай массового избиения произошел с семью "аджуантами" и аджуан-шефами, т.е. - младшими и старшими подпрапорщиками, носившими в мирное время офицерскую форму, лишь с маленькими отличиями от офицерской.

Они опоздали к сборному пункту на работу. Японский фельдфебель, маленький, коренастый и ловкий, выстроил их всех отдельно перед строем солдат и зайдя с левого фланга, молниеносными ударами кулаком в лицо - свалил всех на землю, "по-очереди"... Когда-же они поднялись и одели свои топи - он повторил ту же операцию с правого фланга. Все это было сделано молча, очень быстро, решительно и безапелляционно, в сознании своего права. "Бил" чисто по-русски, с размахом руки, что меня удивило - откуда это он так научился?.. Мы офицеры, стоя на фланге, при виде этого, застыли на месте. Наши капитаны совершенно растерялись, некоторые побледнели и ни чем не реагировали. Это показало лишний раз наше безправие и отсутствие всякой защиты от произвола.

Все наши сержанты и офицеры, работали как и солдаты. Освобождались от работ только капитаны, но они обязаны были присутствовать на работах в качестве командиров своих взводов.

Мне не повезло. Я был назначен помощником командира взвода авиаторов. Это были все сержанты и подпрапорщики, большие специалисты в своем авиаторском деле, но ни топором, ни лопатой - владеть не умели и не хотели научиться как с ними обращаться? Они знали мое прошлое в Русской армии и относились ко мне с большим уважением, особенно после того, как увидели, что я ловко обращаюсь с этими инструментами, стараясь выправить их недочеты, что бы "покрыть их" перед японским надсмотрщиком. Да и летали я годился им в отцы. На мои дружеские упреки - они откровенно сказали мне, что по своему положению летчиков - они получали жалованье и дополнительное вознаграждение "за полеты на авионах", более чем в два раза жалованья своих офицеров, поэтому они совершенно не привыкли к физическому труду и не имеют никакой сноровки в обращении с лопатой или топором. "А вот дайте нам техническое дело - тогда мы покажем"... с горделивой скромностью ответили они.

Это мое назначение во взвод "привилегированного рода войск", и явилось косвенной причиной всех моих последующих злоключений.

Началось с первого же дня. Взвод авиаторов жил в километре от нашего офицерского барака. Первый раз после работ, считая, что я могу идти от них прямо к себе - задержался у дороги. Надсмотрщик капрал резко позвал меня к себе. Я быстро подошел к нему; он злобно зарычал на меня, указывая рукой мое место в строю. Не успел взвод тронуться с места - как я получил сзади удар по плечу бамбуковой палкой. Как ужаленный, я обернулся "для про теста", но получил быстрый и сильный удар уже по голове. Краска стыда перед своими авиаторами, и личной обиды, залило мне лицо. Но мои полные гнева глаза - встретились с еще более злыми глазами японского капрала.

Я почувствовал, . . . я сразу понял, что всякая попытка моего протеста, приведет к еще большим неприятностям сейчас-же и после этого я попаду в положение систематически преследуемого невольника. И я сдержался. Все это пронеслось в моей голове молниеносно. И все это "разыгралось" на ходу и очень быстро. И я, не разсуждая - двинулся впереди своего взвода и . . . для вразумления - получил третий удар по голове, но уже более легкий.

Такое бессмысленное унижение! и со стороны кого-же? И я шел, подавляя kloкочущее внутри рыдание безсильного гнева.

Я стараюсь изучать японских солдат. И среди всех их, окружающих нас здесь теперь, даже самых непрезентабельных по своему внешнему виду и служебному положению - я видел только сознательное унижение нас, старание найти повод для новых придирок, нескрываемую злобность и внимательную постоянную слежку за нами. Я не нашел среди них ни одного "глупаго солдата", т.е. глупаго по-солдатски, добродушнаго и равнодушнаго к тому, что происходит вокруг него. Все они были всегда "на-чеку" в отношении нас, прощупывая своим глазами не только Шаружи, но и стремясь проникнуть в наши души, что бы побольше знать нас и придрататься к чему-либо. Наш же капитан был образцом в этом отношении. Он был постоянно нудно придирчив. Он всегда "пинал", а что ему было надо - мы не могли понять. Он всегда и во всем понукал нас. И как счастливы были мы, когда он отсутствовал. И хотя я видел, что он высоко ценит мою ловкость и работоспособность, но мне от этого не было легче, т.к. он "наваливал" на меня столько работы, точно я должен был сделать все и за своих подчиненных.

На наш протест и здесь, что по международному закону, офицеры не должны назначаться на работы - помощник лагеря, лейтенант, очень тактично сослался на то, что в Японской армии, физический труд обязателен и для офицеров, указывая, как пример, на самого себя. И действительно - он работал наряду со своими солдатами.

Японцы очень трудолюбивы и ловки. Мы сами видели, как их brave сержанты, когда у кого-либо из наших что не клеилось в работе - они выхватывали из рук топоры или лопаты и в несколько минут выполняли работу с такой ретивостью и с таким умением, что можно было прийти в восторг. Но они работали, ведь, для себя, а мы? . . . К тому же, вся эта работа была впустую: мы строили японцам "опорные пункты", в расчете на появление противника из Китая.

Проламывал девственные заросли каких-то трав и камышей среди кустарников, где быть может и нога дикаго зверя не ступала - мы взбирались на возвышенности и строили там из бревен наблюдательные пункты. А их сержанты, с топографическими картами в руках - что-то планировали. Возводить все это в джунглях, при наличии мощной американской авиации в Китае - было совершенно бессмысленно, но японцы занимались этим планомерно и энергично.

Потом мы узнали, что наш "Лагерь принудительных работ", находился на 54-м километре от Ханоя, в направлении на город Хоа-Вин, который жуткой славой вошел в летопись французской борьбы в Индо-Китае.

- . -

Я остался совершенно без обуви. Летом, во Французских колониальных войсках и в Иностранном Легионе, обувью были "сандалии". Лично у меня, другой обуви не было. От постоянной мокроты и грязи - они совершенно разлезлись. Что бы ноги держались в них - я обвил их многими рядами проволоки, как броней. Офицеры, имея ботинки, смеялись надо мною, но я был доволен, что "не босой". А что бы ложиться спать в сухой рубашке - работал с обнаженным торсом, в одних тропических "шортах" /брюк до колен/. Поэтому, мой вид

в строю, привлекал внимание японцев. Я был силен и спортивен - сложен. Что бы избежать мелких ненужных неприятностей - держался с японцами чисто по-воински, но сдержанно. Думаю - и гордо. Это, как я убедился потом, не всем им нравилось. Гордый?... ну так мы тебя укоротим! - девиз их.

Однажды, мой взвод свалил в зарослях большое дерево и его надо было разрубить на части, для блиндажа. Японский сержант торопил с работой. У нас, на весь взвод, было только два "секача", ножа-топора, но один из них без рукоятки. Один из моих сержантов-авиаторов, неловко и беспомощно рубил толстый ствол. Что бы не навлечь на него репрессий, я взял от него секач, и принялся за работу, сидя рядом. Был я, обычно, без рубахи. Японский сержант, проходя мимо, неожиданно ударил меня сзади по спине бамбуковой тросточкой, и при том очень больно, словно в восхищении от моей работы, и быстро прошел дальше. Я вскипел и громко выругался по-французски, зная, что он ничего не поймет. Но он немедленно же вернулся ко мне и нанес удар по левой руке, которой я опирался на бревно для удобства работы. И надо было случиться так, что небрыльшим сучком на его тросточке, он попал в самую вену на кисти руки. Брызнула кровь и остановить ее не чем. Высосав рану - перевязал ее носовым платком. До вечера я оставался на работах, а на утро кисть руки распухла вдвое. Но главное - вся боль перешла, почему-то, под мышку. Отрядной врач установил, что у меня задет нерв и началось заражение крови. А тут, как раз, подошел очередной приступ тропической малярии. И начались мои страдания от двух недугов. От боли в руке, я не могу повернуться с боку-на-бок, а от малярии - то замерзал, и трясся всем телом, то изнемогал от сильного жара и обливался потом. И все это происходило в сырости, под дождем, в грязи и тесноте на общих нарах, где каждому из нас было отведено место в 70 сантиметров шириною. Медицинской помощи почти никакой. Одна надежда на сопротивление здорового организма.

Заболел я 12-го августа. Через 2-3 дня, как-то, выглянуло солнышко и, обрадованный этим, оделся и вышел на дорогу немного согреться под его лучами. Но откуда-то появился наш злой капрал, что-то промышал и ткнул пальцем на наш барак в лесу. Я не понял его и, в своем болезненном состоянии, не обратил внимания. Через 10 минут он вернулся, и свирепо зарычал, вновь указывая на барак. Теперь я понял, что он требует идти туда. Я показываю ему на солнце и на свою больную руку в перевязке. В ответ на это он ударил меня палкой два раза по плечам и снова указал на барак. Спорить было бесполезно. И через грязный ров - я поплелся в сырой грязный наш офицерский барак с чувством острой обиды..

- * -

Японцы придумали новое издевательство: - команды нашими капитанами для встречи японского сержанта на поверках и расчет "по-номерам" - должны производиться на японском языке. Капитаны кое-как выучили необходимые слова, но нумерацию никто не мог запомнить, т.е. знать числа до 25-ти. Было смешно и печально. Мне помогли те скудные познания, которые я приобрел в первые дни своего плена, чем и выручал соседей. На наше счастье, заменявший начальника лагеря сержант, не в пример другим, оказался добрым человеком, и отнесся к этой процедуре, как к комедии и искренне смеялся над ошибками всех. Но для многих это было нестерпимое оскорбительно слушать мишенью для подобных шуток. Скоро это было отменено.

АРМИСТИС.../Перемирие/.

И вот, в такой обстановке, настало 16 августа 1945 года. День был отличный и, как никогда, солнечный. К нашему удивлению - на работы не послали. Я заметил, что японские солдаты, как будто избегают встречи с нами. А не так давно, их лейтенант, предупредил нас не выходить на дорогу, т.к. у них

"очередное веселие солдат", полагаемое один раз в две недели и пьяные люди склонны к драке с посторонними, в особенности с пленными.

В Японской армии оригинальные порядки. Для развлечения и поднятия духа - один раз в две недели, нижним чином привозят в казармы спиртные напитки и позволяется широкое веселие "всю ночь" - закрытое, в своей среде. Подобное веселие мы ощущали в Цитаделе, когда из казарм их караула, неслись совсем не музыкальные громкие песни, пугавшие нас в своем шумном разгуле. Так же они веселились шумно и здесь, в джунглях.

Части имеют свои "чайные домики" - рестораны с примитивными "гейшами", где все рекламировано "по таксе" и где отпускные солдаты получают полное удовольствие в нормальной национальной обстановке. Учреждений-ресторанов эти - "закрытые" и только для своих солдат. Наши легионеры, склонные к разным авантюрам, еще до войны с ними, зашли в такой чайный домик, но их оттуда удалили силой.

Так вот - после подобного кутежа в джунглях и безцеремонной расправы японских сержантов и солдат со своими пленниками - смирение их нас удивило. А 19-го утром, наши надсмотрщики, сами отправились в лес и принесли на своих собственных плечах, все оставленные там наши рабочие инструменты.

В моем сознании, при виде этого, молнией пронеслась мысль: - "Япония капитулировала". Но это было слишком радостно, что бы поверить без прямого подтверждения. Сами же японцы молчали и нам не откуда было получить столь желанную весть.

20 августа, после обеда, нам и соседним отрядам подали грузовые камионы и, нагрузив их до отказа, отправили под сильным конвоем на север. Потом свернули на запад. Мы терялись в тревожных догадках - куда нас везут?

Всех камионов набралось до 30-ти. Так достигли мы окрестностей, столь знакомых нам по маневрам, возле Тонга. Здесь надолго остановились. Потом последовал приказ: - "Всем сесть на дно камионов!" Сели. Камионы покрыли сверху тяжелыми военными брезентами. Высовываться из под них строжайше запрещено.

"Уж не на разстрел-ли везут нас?" - спрашивали некоторые из нас друг друга.

Чутко прислушиваясь к движению - мы определили, что выехали снова на шоссе и свернули на восток. Сомнений не было - нас везут в направлении к Ханой.

Теснота в камионах была неимоверная. Мокрый брезент не пропускал воздуха. С рукой на перевязке и в малярийном жару - я не выдерживаю и время от времени приподнимаю брезент головой, что быдохнуть свежим воздухом и в щель определить - где мы находимся?

Два японских солдата, с винтовками в руках, сидят сверх кузова шофера и внимательно озираются кругом. Дважды получаю удары прикладом по голове, но на мне толстый тропический шлем и он смягает удары.

Уже вечерет. Наш камион головной. В предместье Ханой он останавливается перед вышедшим нам навстречу японским танком. Опять проносится мысль: - "Разстреляют из танка... для скорости"... И последовал новый строжайший приказ: - "Не высовываться!" Нас сопровождает танк.

Тронулись в самый город. Отлегло от сердца. Я продолжаю наблюдать в щель боковой стены камиона. Знакомые улицы. В аннамитских домах яркое освещение, словно у всех какое-то торжество... Но нам все это еще непонятно.

Наш транспорт продолжает идти вперед, точно гигантская змея. Я напрягаюсь в своем наблюдении в щель, горя желанием определить - куда нас везут? Офицеры-соседи, скорчившись в массе на дне камиона - поощряют меня.

Вот наш головной камион с одними офицерами, сворачивает налево, минует дворец начальника дивизии и входит в ворота Цитадели. Японский караул быстро открывает наш брезент. Я вскакиваю на ноги и вижу у камиона французского начальника лагеря, давно знакомого еще по маневрам, полковника

Жайе, ласково улыбающегося сопровождавшим нас двум японским солдатам. Не ожидая приказаний или разрешения, как самый крайний в кампоне - соскакиваю на землю и бросаю полковнику вопрос:

"Кес ке се са, мон Колонель?" /Что такое господин Полковник?/

"Армистис, мон шер ами!" /Перемирие мой дорогой друг!/, весело отвечает он.

"УР-РАА!" кричу я по-русски сидящим еще в кампоне товарищам-офицерам и те, с радостными восклицаниями, прыгивают на землю и окружают полковника, еще мало веря его словам.

Все смешалось в порыве радости, которая передается в следующие подходящие кампоны. Шум, гам, несутся восторженные восклицания! Мы теперь уже нисколько не боимся своих жестоких конвоиров, а они добродушно и широко улыбаются в свои некрасивые лица - ничем враждебным не реагируют на нашу радость.

О, какой счастливый был этот момент, после недавних еще страданий!

Полковник торопит наших капитанов вести свои взводы к кухням, где нас ждет улучшенный ужин. Мы не идем, а летим веселым шагом по столь знакомому нам "двору пленных". Все здесь представляется нам таким милым и приятным, как никогда в жизни. Знакомые офицеры и солдаты, остававшиеся здесь смешиваются с нами и на ходу поздравляют нас и сообщают новости:

"Атомная бомба!. Атомная бомба все сделала!" кричат одни. "Армистис пришел по телеграмме из Токио!" рассказывают другие

И выяснилось: - Японцы укрыли нас брезентами потому, что бы скрыть от аннамитов, опасаясь их нападения на нас, как на Французов, т.к. они объявили свою полную Государственную независимость от Франции. Американская военная миссия, прилетевшая сюда из Китая, из Ставки Фельдмаршала Чай-Кай-Шанга - обязала капитулировавшую японскую власть доставить всех пленных в Цитадель живыми и невредимыми, под их японской строжайшей ответственностью, защищая пленных от аннамитских войск и партизан. Вот почему они и накрыли все кампоны брезентами, словно везли военный груз, а не живых людей.

В этот вечер нас вернулось несколько сот человек. Мы стоим перед кухнями в вольном строю, снова свободные и независимые, преисполненные радостью и идем, как лакомства, после стольких месяцев хронического недоедания - идем нормальный человеческий ужин. Но аппетита особенного нет. Радость освобождения отбила острошу и ощущение голода. Но это продолжалось только до того момента, пока не были наполнены наши котелки очень вкусным наваристым густым супом. А за этим последовало много отлично отваренного белого риса заправленного салом и много бананов.

Пожинали. Нас развели по баракам. Несмотря на усталость - никому не хотелось спать. Хотелось поскорее найти друзей и говорить с ними обо всем без конца, с радостным сознанием, что страх исчез и что окончились наши унижения. И глубоко за полночь продолжалось такое ликующее настроение, охватившее абсолютно всех без исключения.

В том же приподнятом настроении проснулись мы 21-го августа. Все ожили, словно воскресли из мертвых. В тот же день, к нам в Цитадель прибыли американские офицеры-летчики, элегантно одетые, и совсем не по-тропическому; с прекрасными карабинами и револьверами. Мы толпами окружали их и

жадными глазами разглядывали, точно они были существами из какого-то другого мира. Победителей, ведь, всегда приятно видеть!

Но час нашего полного освобождения еще не настал. Оторванные от внешнего мира — мы не знали, и не предполагали даже, что Индо-Китай объявил себя Независимым Государством, и мы, французские войска, рассматриваемся этим государством как его злейшие враги. Всем приказано оставаться в Цитадели до выяснения общей политической обстановки, до прихода китайских войск Чай-Кан-Шека, которые сменяют местные японские гарнизоны. Но и это нас не огорчило. Мы ждали того момента, когда будут открыты ворота Цитадели и к нам придут наши семьи... Через несколько дней "они пришли". Их было много тысяч: — жены, дети, родные, друзья... Все принесли с собой узлы всевозможных лакомств и еды. Трудно передать радость свидания после такой долгой разлуки, да еще в обстановке, полной ужасных тревог, опасений мучительного беспокойства и реальных опасностей. И только теперь мы впервые узнали о произошедших в Индо-Китае событиях, после атаки японцев в марте месяце; о настроении туземного населения после провозглашения независимости и как это отразилось на их поведении в отношении всех французов вообще, и воевод в частности. Но странно было видеть, что две-третьи наших посетителей, составляли те же аннамиты, от имени которых раздавались требования "изгнать поскорее отсюда французов, изгнать навсегда из этой страны". Здесь были жены-аннамитки наших военных, их друзья и просто знакомые. Они были равноправными посетителями этой громадной общей семьи, одушевленные неподдельной радостью свидания. И на их лицах нельзя было прочесть ни малейшего следа "политического обострения" или нетерпимости к французам. Ласковые приветливые и изящные, в своих национальных летних легких шелковых костюмах, аннамитки — они своим присутствием усиливали нашу радость и украшали еще более наш праздник освобождения. На тротуарах громадного двора Цитадели, в часы посещения, открылся настоящий "базар". Появился открыто в продаже напиток "шун-шун". От такого изобилия, и всем доступного — все невзгоды — как рукой смкнуло все переживания бывших пленных. И только выражение пережитых душевных страданий на лицах наших жен и детей, их заострившиеся черты лиц, их худоба — ясно говорили нам о тех тревогах, лишениях и обидах, которые выпали на их долю за полгода японской оккупации.

Наш лагерь скоро посетил начальник американской авиации, прибывшей из Китая, приковник Нордиллинггер. В 1-ю Мировую войну он был молодым офицером на французском фронте и свободно говорил по-французски. Во дворе, при огнях, собрался весь лагерь без строя. Пояснив общую военно-политическую обстановку в Европе и в Азии и справедливо упрекнув французское командование здесь за недостаточно проявленную сопротивляемость японским войскам — он обещал сделать все от него зависящее, что бы обезпечить наше положение и ввести жизнь всех в нормальное русло.

- . -

Скоро разрешен был отпуск к семьям, в город. Но, как странно и, вначале, непонятно для нас было: рекомендовалось выходить только группами и идти только по определенным улицам, из боязни нападения на нас жителей.

Аннамиты очень добрый и покладистый народ. Они были доминирующим народом в Индо-Китае, имея своего Императора Боа-Дая и находясь, как государство, под протекторатом Франции. Северный район, Тонкин, считался завоеванной провинцией Франции. Нельзя сказать, что бы французы хорошо обращались с населением, столь миролюбивым по натуре и по религии Будизма. Но в то же время — никто не мог предположить, насколько у них было развито чувство Государственной независимости, а отсюда и ненависть к французам. И все это мы сразу же испытали на себе, как только пошли в отпуск...

Еще находясь в Цитадели, с балкона 2-го этажа, мы видели проходивших по улице небольшие воинские части нового Аннамитского национального правительства, с желтыми флагами и "красной звездой" на них в одном углу, которая не вызывала у нас критического отношения-взгляда. Во Французских колониальных войсках были целые части, составленные из аннамитов, при офицерском и унтер-офицерском составе из чистокровных французов, как и было некоторое число офицеров и сержантов из чистокровных аннамитов и других народов Индо-Китая. Желтый цвет являлся их национальным, но он оказался "переходной ступенью к красному", уже чисто политическому. И когда офицеры, группами по 10 человек, пошли в отпуск к своим семьям, по единственной указанной улице - в них полетели камни озлобленного населения.

Прибыла наконец 48-я Китайская армия Чай-Кан-Шека, что бы сменить побежденную Японскую и держать порядок в Тонкине до заключения мира. Густыми постами она обволокла Ханой, словно паутиной, и под ее охраной, французы легко вздохнули и почувствовали себя в некоторой безопасности.

В светло-синих куртках и штанах, с маленькими игрушечными ранцами на спинах, как у школьников, мелким частым шагом - густой колонной проследовал один из батальонов по улице. Дробные и очень молодые солдаты. На лицах ничего не написано. Безмолвное стадо в строю, но однообразно одетое. Все офицеры в защитных мундирах хорошего качества, с красными петлицами на воротниках окаймленных желтым кантом. На них золотые звездочки, указывающие их ранг. Впечатление от офицеров отличное.

Случайно познакомился с двумя подполковниками этой Китайской армии. Один генерального штаба, другой начальник всей артиллерии армии. Узнав что я "русский и белой армии" - отнеслись исключительно сочувственно, как к ближайшему соседу по-государству и идее. Они знали 10-15 слов по-английски и столько же по-русски. Щедро угощали мою семью и были у нас в гостях. Они предупредили нас, что бы мы, проходя мимо их часовых на всех углах улиц - не смотрели бы на них и держались бы подальше. На вопрос - почему? - смущенно ответили:

"Наши солдаты из сел... почти полу-дикари. и могут легко пустить в ход оружие, не отдавая этому отчета".

Через несколько дней, так и случилось: Французский военный камин наскочил на военный же китайский, на главной улице Поль Берт, в большой праздник, при толпах гуляющего народа. Офицер-китаец дал какой-то сигнал и все часовые открыли немедленно-же огонь по военным. В результате, на улице, было убито около десяти французских солдат, безоружных, отпускных.

Китайцы ненавидят и боятся японцев. Японцы же - презирают китайцев. Это есть вечная национальная вражда. Я представлял, что с прибытием Китайской армии - она будет мстить и терроризировать побежденных японцев, о чем и спросил одного подполковника генерального штаба, китайца. В ответ он улыбнулся и ответил:

"Нет!"

"Почему?" - допытываюсь.

Он повел пальцем по внешней стороне своей ладони и тихо ответил:

"Сейм коллар", т.е. - мы люди одного цвета кожи.

"Азия для азиатов", оказывается, есть девиз и у китайцев....

При таком положении политической ситуации - Французские пленные и жители "висели" в безвоздушном пространстве.

"Элизе!" вдруг я слышу на торговой улице, кто-то окликнул меня.

Оглянувшись - увидел своего "монгола", в чистом военном мундире, но без сабли. Он быстро подошел ко мне и взял под-козырек. Я подал ему руку. На петлице воротника мундира - я увидел три золотых звездочки. Заметив это, он быстро сказал:

"Ай эм капитен нау!" /Я теперь капитан!/ Сказал радостно, как повышение в чине, а я подумал: - к чему теперь это повышение, когда страна побеждена? Радости, ведь, никакой от этого!

Спрашиваю его о капитане Намеки, о докторе Вотанаби, лейтенанте Сано. Они разоружены, но находятся на свободе. Вдруг он делает очень быстро шага три в сторону от меня и исключительно отчетливо взял руку под-козырек. Кому это он? - удивлен я, когда возле нас никого нет! На противоположной стороне улицы, шел очень молодой китайский офицер, засматриваясь в витрины магазинов, который совершенно не смотрел в нашу сторону.

"Почему?" спрашиваю его.

"Есть приказ по Китайской армии, что все чины Японской армии - обязаны отдавать честь всем офицерам Китайской армии, не считаясь с рангами.

- . -

Мы с жадностью читаем аннамитскую газетку на французском языке - "Ля В е р и т э", что бы хоть из нея узнать - что же твориться в Европе и во Франции после войны? И прочитываем перлы:

"Император Аннама Боа-Дай заявляет, что он предпочитает быть простым человеком в Независимом Аннаме, чем Императором под Французским протекторатом".

Сейчас он Первый Советник главы красного правительства Хоше-Ина.

Тут же следует заявление его супруги, Императрицы большой благодетельницы, что - она предпочитает быть простой сестрой милосердия в Независимом Аннаме, чем Императрицей под Французским протекторатом.

Сейчас она работает простой сестрой в своем аннамитском госпитале.

Японский взвод солдат в 30 человек, занимал в Китае, под Ханькоу, сопку. Китайцы наседали. Весь взвод был перебит. В плен попался только один солдат, у которого металлическая каска была пробита пулями в нескольких местах. Допросив его - дали есть. Он не ест и ни на кого не смотрит.

"Почему ты не ешь и такой скучный?" спрашивает китайский офицер.

"Мне стыдно..." - отвечает он.

"Почему стыдно?"

"Все мои товарищи убиты, а я один остался в живых, вот почему мне и стыдно", ответил он, не поднимая глаз.

Раненого японского офицера китайцы взяли в плен. Когда он выздоровел, то прибыл на то место, где был ранен и взят в плен - и сделал там над собою "харакири".

Читаем мы все это, удивляемся, даже смеемся, мы, еще полупленные и думаем: - Какой, все же, загадочный Восток!

- . -

Верные традиции товарищества - французский части, отошедшие в Китай - немедленно же связались с нами. Особенно тепло и сердечно проявил это наш полк Иностранного Легиона. Оттуда прилетел командир 5-й роты капитан Бессе. Стали подводить итоги потерям. На долю нашего полка выпало особенно много.

В боях, и от японского террора, убито 5 офицеров и 7 ранено. Из трех батальонов, ушедших в Китай, там был составлен только "один" в 700 легионеров. Около 300 легионеров оказалось в плену. Столько же погибло в боях.

Характерный случай: - Японский отряд, заняв городок, где находился "Дисциплинарный взвод" /Сексией спесиаль/, т.е. legionеры, осужденные по суду не менее как на шесть месяцев - штыками перекололи всех 80, пощадив только сержантов-надсмотрщиков. Они, видимо, считали, что осужденный судом солдат, - является негодным и вредным элементом и подлежащим уничтожению.

Из наблюдений - должен подчеркнуть, что в Легионе очень легко попасть под суд. И батальонный офицерский суд строг и пристрастен над legionерами. И делалось это для острастки. Но осужденный legionер совершенно не теряет своего солдатского лица перед своими товарищами и ему все сочувствуют. И в данном случае - там погибли, под японскими штыками, совершенно невинные legionеры, которых искренне пожалели и офицеры, может быть судившие их. Жуткий факт...

- . -

Все пленные живут в Цитаделе, теперь приняв подлинную военную организацию по-полкам. Они не вооружены. Охрану их от аннамитов несет Китайская армия.

Семьи военных живут в Ханое, куда их доставили, еще японцы, со всех гарнизонов, охраняя от аннамитского населения. У большинства - все разграблено чернью. Мне не жаль разграбленной квартиры, с новой современной обстановкой "из черного дерева", но жаль казачье седло и кавказскую шашку в серебряной оправе, украшавших мою "кунацкую". Это были "мои инструменты", на которых я зарабатывал много лет деньги на джигитовке по всему миру и содержал семью. Они мне дороги как память, как родное свое казачье, кавказское. О них я думаю и теперь. Возможно, что они в национальном музее там, как трофеи... Шашка в особенности, т.к. на рукоятке из черного дерева, черного как смоль и твердаго как бычий рог, серебряный инициал Императора НИКОЛАЯ 2-го, а вокруг, змейкой - так же серебряная пластинка, на которой было выгравировано - "За храбрость".

Императорский приказ указывал, что все офицеры должны носить на эфесе сабли инициалы того Императора, при котором получили первый офицерский чин. Произведенный в офицеры в 1913-м году - я носил инициал Императора НИКОЛАЯ 2-го. Надпись же "За храбрость" - это была моя первая боевая награда, за первый бой с турками, в первый же день войны, 19-го октября 1914 года - Святая Анна 4-й степени - красный темляк на шашку с той надписью на рукоятке.

Седло же имело настоящие кавказские стальные стремяна с мягким звуком. Обе эти предмета - седло и шашка - были исключительно дороги, и как вещи и по воспоминаниям. Поймет-ли кто это?!

- . -

По замирению - вся власть в Тонкине была под протекторатом начальника американской авиации, прилетевшей из Ставки Чай-Кан-Шека, Полковника Нордлингера. В освобожденной Франции, Главой Государства стал Генерал де Голль. Все наши генералы, на авионе, вызваны в Париж, в том числе и наш командир полка подполковник Беллок. Париж считал действия их здесь против японцев, не достаточно активными. Командиром полка назначен Командан эдешних колониальных войск, бывший так же пленным

Из Китая, от командующего французскими там войсками, пришел приказ о награждении отличившихся в боях против японцев. Среди пленных legionеров их оказалось немного и только два офицера - автор этих строк и сулейтенант /подпоручик/ из подпрапорщиков, старый legionер, бельгиец

В просторной канцелярии, командир полка собрал всех офицеров-legionеров, свыше десяти человек, и отличившихся - нас двоих офицеров и 4 или 5 сержантов и legionеров. Приказ о награждении начал читать с низшей степени награды, с указанием подвига. Я не ожидал, что я награжден высшим

высшим боевым Орденом среди отличившихся легионеров. /Во Французской армии Ордена жалуются одинаковые, и офицерам и солдатам, Ф.Е./.

Прочитав обо всех награжденных - Командир полка остановился и посмотрел на меня. Он знал, кто я таков был в Русской армии. Читает дальше:

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ.

Честь и верность.

Доблесть и дисциплина.

Выписка из приказа № 889/ДМ, 9-го апреля 1945 года.

"Генерал САБАТТЬЕ, Командующий Французскими войсками в Китае - приказом по корпусу - награждает ВОЕННЫМ КРЕСТОМ с золотой звездой /2-я степень/ ЕЛИСЕЕВА Феодора, Лейтенанта 5-го пехотного полка ИНОСТРАННОГО ЛЕГИОНА Французской армии".

"Офицер ЛЕГИОНА исключительного хладнокровия, своим спокойствием и презрением к опасности - вызывал восхищение среди своих подчиненных во время ежедневных боев, бывших с 20-го марта 1945-го года.

Тяжело контуженный 2-го апреля 1945 года, когда он командовал взводом в аррьергарде, прикрывая отход батальона под жестоким и близким огнем противника. - Числить без вести пропавшим". /перевод с французского, Ф.Е./

- . -

Слушая описание моего подвига - мне было неловко. Мне казалось, что "реляция" сгущена. Хотя реляции всегда, и во всех армиях, часто пишутся похвально, не совсем соответствуя подвигу.

После прочтения, как принято во Французской армии - Командир полка и офицеры подошли с поздравлениями, пожимая руки всем награжденным, даже и "нижним чинам".

Но это не столь важно. Важно то, как я был вознагражден офицерами полка, с которыми был в походе и в боях и которые ушли в Китай.

От своего Командира 7-й роты, капитана Куран, я получил несколько лестных писем, принеших мне большое моральное удовлетворение, выдержки из которых, относящиеся к делу - помещаю:

"Мон шэр Элизе! / Мой дорогой Елисеев? /

"Я только что узнал из полученного здесь, в Китае, письма, что Вы находитесь в "Цитаделе": будучи раненым - Вы добрались в Ханой.

Эта радостная новость была для меня неожиданной. Могу Вас уверить, что я не ожидал уже Вас больше увидеть, или о Вас услышать, на этом Свете, так как почти не сомневался, что Вы были убиты, или, по крайней мере, брошены тяжело раненым вместе с другими Вашими ранеными легионерами на дороге и добиты японцами. Я видел Вас покрытого кровью и считал погибшим. К счастью - это не так!

Ваше заключение в плену окончено. Представляю себе Ваши моральные страдания, которым Вы подвергались за эти пять месяцев заключения".

"Мне особенно приятно Вам сообщить, что приказом по корпусу, Вы награждены "Военным Крестом 2-й степени с золотой звездой", и с очень похвальным описанием Вашего подвига. Это описание, которое составлено мною - является точным и действительным свидетельством.

После 2-го апреля, наша рота понесла еще большие потери и, особенно, Ваш взвод. Убиты все Ваши сержанты и капралы.

Капрал-шеф Колерский, которого Вы вынесли из боя - умер в ту же ночь на перевязочном пункте от потери крови.

Вообще, что касается Вашего взвода - он все время продолжает давать мне полное удовлетворение".

Искренне Ваш, Капитан Куран.

Получив это первое письмо - я немедленно же ответил ему подробно о трагическом для меня дне 2-го апреля 1945-го года, на что получил следующий ответ:

"Прочитав Ваше письмо, я теперь понимаю, почему вы были осыпаны пулеметным огнем японцев при переходе моста. Я ведь потерял там трех лошадей с патронами, которые шли впереди Вас! Вначале я не хотел верить коновожатым, но теперь признаю, что их первые показания оказались верными, - что японцы находились вблизи от моста".

"1-го мая, наша рота была отрезана от батальона и окружена японцами, но прорвалась, а к батальону присоединилась только через 16 дней, уже в Китае. В этом бою я потерял восемь человек из командного состава, и почти все они из Вашего взвода".

"Время, проведенное в боях вместе с Вами - крепко связали нас с этой отличной ротой, которой я имею честь командовать. Все держали себя замечательно".

"Уверяю Вас, что все мы сохраняем о Вас отличную память как о прекрасном солдате и шинарном товарище /"Дю бон сольда э дю ник камарад" - дословно в письме, Ф.Е./ - каковым Вы и являетесь в действительности".

"Мы часто говорили между собой "о Вашем возрасте", который по Вашему физическому состоянию - никак не превышает 30-ти лет.

Ваше поведение в боях всегда было как прекрасного и отличного солдата, когда Вы были у меня на службе, пред моими глазами. И я являюсь наиболее авторитетным судьей Ваших действий вместе с немногими своими легионерами оставшимися в живых и бывших в боях с Вами и со мною".

В ожидании радости вновь встретиться с Вами,
прошу верить в мою искреннюю дружбу к Вам.

Капитан Куран.

- * -

Встретиться со своим Командиром роты, с Капитаном Куран - мне не пришлось. Из Китая - всех их отправили во Францию. Потом стало известно, что Капитан Куран, за те же бои, награжден Командорским Орденом "ЛЕГИОН Д'ОННЕР", носимый на шее, так как уже имел раньше тот же высокий орден, украсивший его грудь. Во Франции, этот Орден дается чрезвычайно редко. Им награждаются не только военные и за боевые отличия, но и гражданские лица "За ученую степень" и другие заслуги перед Государством.

Я был рад за своего Капитана Куран.

КУРЬЕЗЫ . . .

Как видно из фото-копии приказа - я был награжден 9-го апреля, т.е. семь дней спустя, после своей гибели. Уведомление же об этом пришло в Ханой только в сентябре. Это были "первые награды" среди военно-пленных.

Как указал выше - все французские гарнизоны были атакованы японцами и разоружены в одну и ту же ночь. Некоторые из них оказали сопротивление. Несомненно - были и подвиги, но они еще не были отмечены "реляциями", т.к. все попали в плен. Уже весной 1946 года, когда в Ханой прибыла моторизованная дивизия Генерала ЛЕЖИЕР - дано распоряжение представить отличившихся.

На 500 пленных офицеров в Ханое - только два офицера-легионера попали сюда из похода, из боев и ранеными, это были - 3-го нашего батальона су-лейтенант /подпоручик/ из старых подпрапорщиков, бельгиец Маржюери и автор этих строк. Из колониальных частей - никто в походе не был, как и не было среди них и раненых.

Наш су-лейтенант бельгиец - был награжден, вместе со мною, Орденом КРУА де ГАР с серебряной звездой /3-я степень/. Особенно отличившихся - разрешено представить к Ордену "ЛЕЖИОН д'ОННЕР" /Легион Чести. - установленный Наполеоном 1-м/.

Командир Офицерского батальона, Командан /Майор/ М а н ь е р, вызывает меня в канцелярию и у нас произошел такой диалог:

"Элизе!.. Хотите, что бы я Вас представил к Ордену "Легион д'Оннер", так как Вы были в походе, в боях и ранены?"

"Мон Командан... в таких случаях о желании не спрашивают. Каждому награда приятна", - отвечаю ему. Он улыбается и говорит, что бы я прошел в наградной отдел к адъютанту-шефу такому-то /старшему подпрапорщику канцелярии/, взял бы у него анкету и заполнил бы пункты "о прохождении службы".

Поблагодарив любезного начальника - через коридор вошел в наградной отдел. Адъютант-шеф любезно дает анкету и спрашивает - "Сколько лет я нахожусь во Французской армии?"

"Четыре года" - отвечаю ему.

"Кель доммаж, мон льеутенант!.. иль - фэ атр минимум сенк ан!" /Как жаль! надо быть не меньше как пять лет!/ ответил он и попросил доложить об этом Командану.

Вернулся и доложил. Он посочувствовал и... вследствие такого странного закона, столь Высокий и почетный орден - прошел мимо меня....

- . -

Из Китая прилетел в Ханой Командир 5-й роты нашего батальона, капитан Бессе. Я с ним был в очень хороших взаимоотношениях еще до похода, и в походе разделял тяжести. Как писал раньше - он с высшим образованием, сын консула в Румынии; маленького роста, милый и добрый человек и офицером стал случайно. Встретившись в Цитаделе - вдруг слышу от него:

"Элизе!.. Вы сами виноваты в том, что попали в плен!"

"Как-так, Мон капитан?" сурово и оскорбленно спрашиваю его.

"Потому что, Вы напрасно несли раненого на прап-шефа Колерского! Вот Вы выдохлись и отстали... а надо было бросить его и уходить сапогу!" Как-то наивно, чисто по-женски, с сознанием своей правоты, говорит он.

"Если все солдаты будут знать, что будучи ранеными, их не вынесут из боя и бросят на произвол судьбы - то при первой-же перестрелке, они бросят свои позиции и отойдут назад - мон капитэн!" - ответил я ему растягивая слова "для понимания", при этом, став в положение "смирно", но не взяв руку под-козырек.

Этим я ему подчеркнул, что отвечаю официально.

В щегольской темно-зеленой офицерской шинели, глубоко держа обе руки в ее боковых карманах - он повернулся на-каблуках направо и налево, повел по сторонам головой, как-бы ища мысли со-стороны - и потом быстро ответил, словно я "открыл ему америку":

"Вуй вуй!.... Ву-з-авэ резон, Элизэ!" /Дада!... Вы правы!/"

"Натюрэльяман!" вторю ему, подтверждая - и он перешел на другую тему.

Во Французской армии, на взгляд офицера Русской армии - много есть "курьезов", но должен подчеркнуть, что есть много хорошего, интересного и правильного.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ.

В таком положении "полу-пленных", все пробыли до весны 1946 года, когда из Франции, в Тонкин, прибыла моторизованная дивизия, прославленного Героя в северной Африке и при взятии Парижа, Генерала Леклерк.

Часть дивизии высадилась в порту Хайпонг и походным порядком вошла в Ханой, пройдя по главной улице Поль Берт. Она состояла из чистокровных французов. Надо было видеть восторг французского населения, встречающих их, своих избавителей!

Отлично вооруженные, запыленные, в металлических касках при полутропической жаре....И здесь мало сказать -

"Кричали женщины "УРА"!

"И в воздух чепчики бросали....."

Всегда пикантные французенки останавливали танки и камионы с солдатами, обнимали их и щедро угощали разными "апперитивами".

Велико чувство Национального Достоинства и Патриотизма, и оно выпукло, во всю свою мощь, выявляется только в несчастье. И его познаешь только тогда, когда сам видишь и участвуешь в Народном Торжестве.

- . -

Цитадель посетил Леклерк. Зашел в канцелярию нашего Легиона, что бы познакомиться с офицерами.

Высокий, стройный, сухой. Приятная улыбка и внешне - ничего героического. Всем нам кивет руки, мягко смотрит в глаза каждому и сразу же подкупает доверием к себе.

Прилетел Генерал Жуан, единственный теперь Маршал Франции. Молодой, склонный к полноте, на вид - барски капризный. И нам в Легион не зашел.

С прибытием Французских войск, город Ханой, где были сосредоточены все французы военные и гражданские со всеми их семьями - был разбит на три зоны - Французскую, китайскую и аннамитскую. В каждой зоне, военная полиция перечисленных наций - держала внутренний порядок. Всем французским военным был выдан документ о личности на четырех языках - английским, французским, аннамитским и китайском, за подписью начальника Амери-

ханской армии Полковника Стефана Л. Нордлингер, Командующего американской авиацией здесь, прилетевшей из Китая и Командующего войсками в Цитаделе, Французского Генерала Де Фруассард Бруассиа.

В этом удостоверении сказано, что выход в город Ханой разрешается с 7-ми утра и до 18-ти, т.е. до 6-ти часов вечера. Рекомендовалось совершенно не посещать района города, находящегося под аннамитским управлением, где было не безопасно. Некоторые солдаты колониальных войск, по привычке, посетили местные кабаки-притоны, так распространенные на востоке и многие не вернулись назад - были убиты, так как по всей стране шел террор местного населения над всеми французами.

С марта 1946 года, началась репатриация во Францию бывших пленных, их семейств и всех желающих французов из гражданского населения.

Индокитай вступил в новый этап своей истории, о которой мы, служившие здесь - раньше и не помышляли.... Он стал независимым Государством.

- . -

Со всеми колониальными войсками и своим Легионом - я так же подлежал возвращению во Францию, но, как оказалось - будучи офицером-иностранцем, и поступившим в Легион только "на время войны" /"Ангаже а ля Колони, а пур ли дюре дэ ля герр"/, как говорится в моем послужном французском списке и, согласно закону, я считался "не женатым" /"селибате"/, следовательно - жену и сына, должен вести на свой счет....

Я был возмущен. Дорога стоила около ста тысяч франков. Рабочий же в те годы получал 12 тысяч франков в месяц. Было о чем подумать, как и возмущаться!

Я немедленно же подал рапорт на имя Главнокомандующего Французскими войсками на Дальнем Востоке, Генералу Леклерк, в котором указал свое участие в походе, ранения в нем, получение высокой боевой награды и, попутно, кем я был в Русской Императорской Армии и в гражданской войне на юге России в 1918-20 годах.

Генерала Леклерк все хвалили, как очень доброго и культурного Генерала. Кстати сказать - он принадлежал к какому то аристократическому роду, и когда Франция была оккупирована немецкими войсками Гитлера - под фамилией своего слуги, или садовника "Леклерк" - он бежал в Северную Африку, примкнул к движению Генерала де Голя и возглавил там одну из воинских групп "Свободной Франции".

Пережив сам "потерю Отечества" - он понял мои чувства. 24-го мая 1946 года - по команде, по нисходящей линии - я получил уведомление: - "Южан. Титр эксепсионнель" - "Спешно. Исключительный случай. Мена и 13-ти летний сын лейтенанта Елисеева, из Индокита, во Францию, перевозятся на Государственный счет."

К О Н Е Ц

Всех военных "старой армии", с их семьями, на небольших пароходах - перевезли в Сайгон, считавшийся столицей южного Индокита. И 22 августа 1946 года, на громадном океанском пароходе "ИЛЬ ДЕ ФРАНС" - отправили первую группу во Францию, в количестве около 7-ми тысяч человек, считая женщин и детей. Через порт Сингапур, Бенгальский залив, порт Итоломбо острова Цейлон, Индийский океан, порт Аден, Красное море, Порт Саид - пароход вошел в Средиземное море, где, за 14 лет пребывания в тропических странах - впервые почувствовал так приятное дыхание свежего ветерка и впервые выпил нормальную холодную воду. К своему удивлению и радости - со входом в Средиземное море - у меня прекратились приступы тропической малярии, и не появились до настоящего времени.

РОДИНА - великая вещь для всякого патриота. Когда "Иль де Франс" вошел в Средиземное море - все отделения палубы были переполнены ликующим народом. Все смотрели только на запад, словно стараясь как можно скорее увидеть берега своей Прекрасной Франции. Смотрел туда, на запад, и я, и моя семья. И если Франция не была "нашей родиной" - то события последних лет во Французской армии, как и жизнь в среде веселого дружественного и культурного класса французского общества - тесно сблизили всю мою семью с Францией. И тому же - наш сын родился в Париже.

Пароход тихо вошел в знаменитый Французский порт ТУЛОН, в величественный город ТУЛОН, широчайше раскинутый на возвышенностях всех заливов. И надо было видеть "встречу родных", что бы испытать счастье всех.

У нас не было родных, но официальные военные и благотворительные учреждения - полностью заполнили их. Оформление документов, выдача всевозможных подарков - глубоко радовали душу. Документы, в которых говорилось, что раненым в бою попал в плен к японцам, был "в лагерь репрессий", потерял все свое имущество разграбленное аннамитами /квартиру/ - "аян де ките еон фойе - аян этэ пилле" и репатриированный "с хронически поллюдиизмом" и "Анемие" - широко открывали мне и моей семье дорогу для внимания. В тропическом костюме, с высоким боевым Орденом на груди "КРУА де ГЕРР" 2-й степени и в нарядном красном "кепи Легиона", разшитого золотыми галунами - все это только усиливало внимание со стороны.

Должен подчеркнуть, что во Французской Армии, Иностранный Легион считается образцовой воинской организацией, в который стремились служить лучшие французские офицеры. Рядовой же состав и сержанты - были исключительно иностранцы. Преобладали немцы. Легионеров, чистокровных французов и англичан - были, буквально, единицы.

2-3 дня в Тулоне - и 2-м классом экспресса - с семьей прибыл в Париж, из которого выехали в 1933-м году. Было так интересно побывать на старых пепелищах и поглядеться с многочисленными друзьями-казаками. Это было в первых числах ноября 1946 года.

Новое представление гарнизонному начальству. Всем даден четырехмесячный отпуск, с сохранением содержания. Я лечился и отпуск мне продлили еще на два месяца.

5-го апреля 1947-го года приказано явиться в казармы "Эколь Милитэр", что против Эйфелевой Башни, "для демобилизации". Собралось много подлежащих ей. И "военная сказка" закончилась так буднично, так серо, так, даже, оскорбительно: - В ашарпанной канцелярии очень старых казарм, самые обыкновенные писари-чиновники - выдали нам "Фийш де демобилизасион" и послужные списки и сказали - "Вы теперь свободны".

В канцелярии не было ни одного офицера, никто нас не выстраивал, никто нас не поздравлял с окончанием боевой службы своему Отечеству Франции, не было хора трубачей с банфарами и, даже, не было и единого слова благодарности....

Здесь были и рядовые солдаты, и сержанты и офицеры разных рангов. Из иностранцев я был единственный. Все приходили, брали свои документы и... совершенно буднично, уходили к себе домой. В их понятии, это, видимо, было "нормально". Но же было очень странно все это видеть и ощущать в своем сердце, как и в своей голове. Демобилизационный лист за №27053 - "хет" мою душу...

С документами в кармане, через большой и грязный двор - вышел за-зоро-рота. Передо мною знаменитая Эйфелевская Башня, а перед нею, не менее знаменитое "Марсово Поле", на котором мы, казаки Дона, Кубани, Терека, Астрахани и Урала - джигитовали в 1925-м году в громадной труппе Генерала Шкуро, организованной Кубанскими офицерами-джигитами во главе с Есаулом

Саввой Панасенко, прозванной "шестерка", потому, что их было шесть человек. Но и знаменитое тогда "джигитское поле", где происходил "казачий бум" с бубнами, с песнями, с плясками - теперь засажено деревьями и никаких следов не осталось от бессмертной казачьей Славы на коне...

Без своего ОТЕЧЕСТВА - все это есть "суета сует".

Прошли года. 11 февраля 1948 года я смотрю в Париже замечательный американский фильм, под названием - "Самые прекрасные годы нашей жизни", в котором показаны сцены возвращения домой, после войны, в свои семьи трех американских героев - капитана, сержанта авиации и рядового матроса. Последний потерял на войне кисти обеих рук. Все они воевали против японцев в Великом океане.

Надо было видеть, как этот фильм так глубоко захватил зрителей. Захватил он больше меня и мою семью, так как я дрался на одном фронте с ними и против одного и того же неприятеля.

После демобилизации - они стали "штатскими людьми" и вынуждены были искать службу. В конце концов, каждый из них устроился не плохо и, под штатским костюмом, сохранил между собою исключительно глубокое воинское товарищество. Конец же фильма исключительно интересный: - когда служащие очень недружелюбно отозвались о их бывшей военной службе и завязалась кулачная драка - они трое "грудью" стали вместе и разогнали всех.

После демобилизации - я так же стал "штатским", а в тот период времени, даже, "безработным", почему этот фильм особенно остро воспринимался мною, как жуткая действительность. И несмотря на большую разницу в нашей судьбе - я, как и они - с особенно теплым чувством вспоминал годы всей своей военной службы и трех войн. И как они - считаю наилучшими годами своей жизни, как вступивший на военную службу в 1910-м году, по глубокому влечению моего сердца.

К о н е ц .

- * -

После "перемирия" - из Парижа пришло распоряжение: - "Всем воинским чинам в Индо-Китае, начиная от сержантов и кончая генералами - донести по команде - что каждый сделал с момента атаки японцев и до перемирия"?

Не связанный военной карьерой во Французской армии, пользуясь своим кратким дневником - я написал 168 страниц печатью "через строчку", т.е. то, что описано здесь, кроме моих разсуждений, теперь вставленных. Рапорт-описание закончил в августе 1945 года, в Цитаделе.

24 декабря 1946 года, из Сиди-Бэль-Аббес, Северная Африка, из Депо всех семи полков Легиона, письмо от капитана Бессе, который стал адъютантом начальника Депо Полковника Голтье - следующего содержания:

Шер Ами, - Дорогой Друг.

Ле Колонель м-а коммюнике вотр рапорт нео же труп форт интересан. /Полковник передал мне Ваш рапорт, который я нашел очень интересным/.

Дальше он пишет, что наш полк награжден "КРУА ДЕ ГЕРР" а век пальм, т.е. ВОЕННЫМ КРЕСТОМ с пальмой /1-й степени/ и "Сертификат" /Удостоверение/ мне высылается.

Письмо это тем ценно, что в своем рапорте, я несколько раз критически отозвался об этом же капитане Бессе, тогда, в походе, бывшим командиром 5-й роты нашего батальона. Но как умный и воспитанный офицер - он не мог отрицать той правды, о которой я писал в этом своем рапорте-повествовании. Я был удовлетворен и польщен. Заканчивает он письмо почтительным приветом приветом моей супруге - "Бьен аффектуэзэман" - и "Брав Жюж" - сыну.

В 1947 году мною получены из Сиди-Бель-Аббас, из Дюпр Легиона - три Удостоверения:

- 1.- О награждении нашего 2-го батальона Орденом КРУА ДЕ ГЕРР 2-й ст.
- 2.- О награждении нашего 5-го полка КРУА ДЕ ГЕРР 1-й степени и
- 3.- О награждении меня КРУА ДЕ ГЕРР 2-й степени. Последний наградной лист в золотой обложке, и все с эмлемами ЛЕГИОНА.

Награждение батальона и полка Орденом КРУА ДЕ ГЕРР выявляются тем, что на Знаменах иметь соответствующую ленту, а все чины их, даже при переводе в другую часть - до самой своей смерти имеют право носить на правом плече "Фуражер" из цветов полка. "Фуражер" - подобие аксельбант.

Все это хорошо и приятно в былом, для памяти, для потомства, но - без своего ОТЕЧЕСТВА - нет не только счастья в жизни, но нет и полного благополучия.

Написано в 1945-м г. В Ханой, Индокитай.

Напечатано в марте 1960 года.

Полковник Елисеев.

Сан-Франциско.

Все права сохраняются за автором.

Издано в 1966г. в Нью-Йорке. — • —

За последние годы, в Нью-Йорке, мною изданы следующие брошюры:

- 1.- "История Кубанского Войскового Гимна"/2-е издание/ со многими снимками и партитурой Гимна.
- 2.- "В Храме Войсковой Славы" - Казачьи полки на Кавказском фронте во время 1-й Великой войны 1914-18 гг. - Донского, Кубанского, Терского, Оренбургского, Сибирского и Забайкальского казачьих Войск, с перечислением полков, батарей, пластунских батальонов, бригад и дивизий, с указанием старших начальников и судьба их. Это есть законченный труд в 13 брошюр.
- 3.- "Генерал Эльмурза Мистулов" - Командующий Терскими казаками против красных осенью 1918 года, когда он и застрелился. На обложке его портрет на боевом коне.
- 4.- "Рей Сотника Гамалия в Месопотамию в 1916-м году" во главе сотни казаков 1-го Уманского полка Кубанского Войска, для связи с английскими войсками оперировавшими в Месопотамии. В брошюре 9 портретов Героя Гамалия, начиная с юнкерских лет, офицерских и за 2 месяца до его смерти в 1956 году, под Нью-Йорком.
- 5.- "На берегах Кубани" - три брошюры из мирной жизни.
- 6.- "Партизан Шкуро" - две брошюры.
- 7.- "С Корниловским конным полком Кубанского Войска" на берегах Кубани, в Ставрополье и в Астраханских степях осенью 1918-го и весной 1919 годов. Всего 14 брошюр, как законченный труд.

Но всем брошюрам приложены карты района военных действий и кроки боев.

Следующия брошюры будут из гражданской войны 1918-1920 годов:

- 1.- "С Хоперцами от Воронежа и до берегов Кубани" - 5 брошюр,
- 2.- "Лабинцы и последние дни на Кубани" - 14 брошюр.

Ф.И. Елисеев.